

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ ДОБАВЛЕНИЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО К «ОСНОВАНИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

〈Если〉 осуществится прогресс, — очень возможно, что он пойдет иным путем, и мы увидим впоследствии, что есть пути, имеющие более шансов на предпочтение, — мы хотим только сказать, что основная причина сопротивления введению машин не есть порождение грубой фантазии или ослепленных страстей, а напротив, состоит в факте, признаваемом наукой, что цель, к которой стремятся в этом случае работники, т. е. избежание бедствий, не имеет в себе ничего недостижимого. Но мы сделали уже предположение, что читатель знаком с изделиями по политической экономии в духе нынешних французских экономистов<sup>1</sup>; если так, он может, наслушавшись одной стороны, думать, что писатели противной стороны, мыслители прогрессивной школы, говорят что-нибудь действительно похожее на вздор, приписываемый им нынешними французскими экономистами. Чтобы разубедиться в этом, он должен выслушать и эту другую сторону, о которой у нас говорят так много нелепостей. Он увидит в таком случае, что прогрессивная школа более верна основным идеям смитовской теории, нежели ее противники. Так как теперь вопрос идет о влиянии машин, то мы представим эюд о них из *Philosophie de la Misère*<sup>2</sup>. Милля мы переводим вполне, но делать полный перевод из этой книги и других ей подобных по направлению мы не можем по разным причинам, между прочим и по той, что они вообще написаны тоном неудобным до сих пор в русском языке<sup>3</sup>. Итак, мы должны удовлетвориться извлечением; оно в некоторых местах будет походить на переделку; но переделка наша касается только способа выражения, а никак не мыслей, излагаемых автором.

Тем самым, что машины облегчают труд, они сокращают и уменьшают его, так что начинает предлагаться все больше и больше, запрос на него становится все меньше и меньше. Правда, что уменьшение цен, увеличивая потребление, постепенно восстанавливает пропорцию, и работник снова призывается к труду; но промышленные усовершенствования являются одно за другим безостановочно и постоянно ведут к замещению человеческого труда механической операцией, и дело идет постоянно в том духе,

что все урезывается часть труда, все устраняются из производства работники; а без труда нет им средств существования.

«Когда новая машина или вообще какой-нибудь улучшенный способ занимает место прежней ручной работы, говорит Сэ, то часть рабочих рук, служба которых заменена с выгодой, остается без дела. Итак, новая машина замещает собой труд части работников, но она не уменьшает количество производимых вещей, потому что в таком случае ее не приняли бы; она перемещает доход; но окончательный результат безусловно в пользу машин, потому что если изобилие продукта и умеренность издержек его производства понижает продажную ценность, то потребитель, т. е. все и каждый, выигрывает...»

Оптимизм Сэ — неверность логике и фактам. Дело тут не в малочисленных случаях, произведенных раз, два или три в течение тридцати веков введением машин: вопрос идет о феномене постоянном, непрерывном и всеобщем. «Переместившись», по выражению Сэ, одной машиной, доход снова перемещается другою, потом третью и все продолжает перемещаться новыми, пока остается место труду и обмену. Так надобно представлять этот феномен — и надобно согласиться, что если понимать это, он получает совершенно иное значение. Перемещение дохода, уменьшение труда и рабочей платы — это бедствие хроническое, постоянное, неизгладимое, род холеры, являющейся то в лице Гуттенберга, то в лице Аркрайта, то под именем Жаккара, то под именем Уэтта и маркиза Жюффруа<sup>4</sup>. Чудовище свирепствует несколько времени под одною формою, потом принимает другую, и экономисты, воображая, что оно удалилось, восклицают: беда была невелика! Спокойные и довольные тем, что выставляют всею силою своей диалектики положительную сторону вопроса, они не хотят смотреть на разрушающую сторону дела, оставляя, впрочем, за собою право, когда им снова заговорят о нищете, возобновить свои назидательные речи о непредусмотрительности и пьянстве работников.

«В 1750 году», — это соображение Дюнойе<sup>5</sup>, оно может служить образцом всех подобных мудрых рассуждений, — «в 1750 году население Ланкашира (где сосредоточивается хлопчатобумажная промышленность Англии) было 300 000 человек, в 1801 оно благодаря бумагопрядильным машинам было 672 000 человек; в 1831 оно было 1 336 000. Прежде хлопчатобумажная промышленность занимала 40 000 работников, а теперь занимает 1 500 000».

Дюнойе прибавляет, что при таком чрезвычайном увеличении числа работников, занятых этою промышленностью, цена труда стала наполовину больше прежней. Итак, развитие населения, следуя за промышленным движением, было факт нормальный и безукоризненный, точнее сказать, отрадный факт, — ведь приводят <его> в честь и славу развитию машин. Но вдруг Дюнойе

поворачивает налево кругом: этому множеству колес прядильного механизма не достало работы, и плата им по необходимости уменьшилась, машины изменили населению, ими вызванному, и г. Дюнойе принимается твердить: «беда происходит от излишества браков». Английская торговля, возбуждаемая своими безмерными рынками, отовсюду призывает работников и побуждает их к браку; пока труд идет хорошо, брак дело превосходное, и многочисленность детей ставится в похвалу машинам; но рынки неверны, и когда труд задерживается, когда рабочей платы нет, начинают кричать против брака, обвинять непредусмотрительность рабочих. Видите ли, нынешнее экономическое устройство безукоризненно, стало быть, нужно винить пролетариев.

Часто приводят в пример типографскую промышленность и всегда в духе оптимизма. Число лиц, живущих теперь книжным делом, быть может, в тысячу раз больше числа переписчиков до Гуттенберга. Из этого выводят, что изобретение книгопечатания не принесло никому убытка. Подобных фактов можно приводить сколько угодно и ни одного из них нельзя отвергнуть, но только не подвинется от них ни на шаг вопрос. Повторяю, никто не спорит с тем, что машины содействуют общему благосостоянию; но при этом неопровержимом факте я все-таки утверждаю, что экономисты изменяют истине, когда безусловно говорят, что *упрощение способов производства машинами нигде не имело результатом уменьшение числа рук, занятых какою бы то ни было промышленностью*. Экономисты должны были бы сказать, что машины подобно разделению труда служат при нынешней экономической системе и источником богатства и с тем вместе постоянною, неизбежною причиною нищеты.

«В 1836 году на одной из манчестерских фабрик девять станков, имевших по 380 веретен, управлялись каждый четырьмя прядильщиками, потом удвоили длину досок, в которых вертятся веретена, в каждом станке сделали по 680 веретен, и для управления станком сделалось достаточно двух человек».

Вот факт изгнания работника машиною. Введением лучшего механизма прогнаны три работника из четырех. Что же пользы, если через 50 лет, когда население земного шара удвоится, а иностранный рынок Англии учетверится, английские фабриканты возмут назад своих рабочих? Хотят ли экономисты приводить увеличение населения в похвалу машин? Если хотят, пусть же откажутся от теории Мальтуса, пусть перестанут декламировать против чрезмерной плодovitости браков.

«На этом не остановились. Скоро новое механическое усовершенствование дало возможность одним работникам делать то, чем прежде занимали четверых». Новое уменьшение занятия труду на три четверти; в сумме уменьшение человеческого труда на пятнадцать шестнадцатых частей.

Один из больтонских фабрикантов (Больтон — один из не-

скольких огромных городов, окружающих Манчестер и составляющих с ним, можно сказать, один город) пишет: «Увеличение длины досок, в которых вертятся веретена, позволяет нам употреблять 26 прядильщиков вместо прежних 35». Новое избиение работников: на четырех человек приходится одна жертва.

Эти факты извлечены из «Revue Economique»<sup>6</sup> 1842 года, и каждый может набрать много таких же фактов. Я сам был свидетелем того, как вводились скоропечатные машины вместо ручных станков. Я могу сказать, что видел своими глазами бедствия, которым подверглись оттого печатники (автор *Philosophie de la Misère* был прежде работником при типографии). Введение скоропечатных машин происходило 15 и 20 лет тому назад; с той поры часть печатников обратилась в наборщики, другие вовсе не нашли себе места в типографиях, многие умерли от нужды. Таким-то образом совершается переделка в рабочем классе при промышленных нововведениях. 20 лет тому назад 80 конноводных судов производили перевозку из Бокера в Лион; они истреблены 20 пароходами. Разумеется, торговля выиграла; но что сделалось с людьми, бывшими на конноводных судах? Перешли ли они на пароходы? Нет, они пошли туда, куда идут люди всех исчезающих промыслов: они пропали.

Следующие факты, извлекаемые мною из того же источника, дадут более положительное понятие о влиянии промышленных усовершенствований на судьбу работников.

«Средняя величина рабочей платы в Манчестере 10 шиллингов (3 руб. 25 коп.) в неделю. Из 450 работников не наберется 40 работников, получающих 20 шиллингов (6 руб. 50 коп.). Автор статьи позаботился заметить, что англичанин расходует денег в пять раз больше, чем француз; значит, манчестерские рабочие живут, как должен был бы жить французский работник на 2 франка 50 сантимов (62 коп.) в неделю.

«Edinburgh Review»<sup>7</sup> за 1835 год. «Коалиция манчестерских работников, не соглашавшихся на уменьшение платы, заставила изобрести усовершенствование Шерпа и Роберта в ткацком станке; это изобретение порядком наказало безрассудных, составивших коалицию». Это «наказало» заслуживало бы наказания. Изобретение Шерпа и Роберта должно было возникнуть из самого положения технических искусств; сопротивление работников требуемому от них уменьшению платы послужило только поводом. По мстительному тону «Edinburgh Review» кажется, будто машины составляют уголовное наказание.

Один из английских фабрикантов говорит: «Непокорность наших работников заставила нас постараться обходиться без них. Мы сделали и вызвали всевозможные усилия ума, чтобы заменить услуги человека более послушными орудиями, и достигли нашей цели. Механика освободила капитал от порабощенности труду. Где мы еще употребляем человека, он употребляется вре-

менным образом, в ожидании того, когда изобретется для нас средство производить его дело без него».

Какова система, приводящая негоцианта к тому, что он с восхищением думает: скоро общество будет обходиться без людей! *Механика освободила капитал от порабощенности труду!* Это точно то же самое, как если бы министерство взялось освобождать бюджет от порабощенности людям, платящим налоги. Безумец! Если работники стоят вам расходов, то ведь они ваши покупатели. Куда вы денете ваши продукты, когда, выгнанные вами, они перестанут потреблять? Потому удар, наносимый машинами, поразив работников, не замедляет бить и фабрикантов; если производством уничтожается потребление, само производство скоро принуждено бывает остановиться.

«В последнюю четверть 1841 года четыре большие банкротства, произошедшие в одном из английских мануфактурных городов, пустили по миру 1720 работников». Эти банкротства были произведены излишеством производства, т. е. недостаточностью сбыта, иначе сказать, бедностью народа. Как жаль, что механика не может тоже освободить капитал от порабощенности потребителям. Как жаль, что машины тоже и не покупают сами тканей, ими производимых! Что за идеальное общество было бы, если бы торговля, земледелие и фабричная промышленность могли идти, а не было бы ни одного человека на земном шаре!

«В одном из йоркширских приходов работники вот уже 9 месяцев имеют работу только по два дня в неделю». — Это машины.

«В Джестоне две фабрики, стоившие 60 тыс. фунтов, проданы за 26 тыс. фунтов». — Они производили больше, чем могли сбыть. Это машины!

В заключение журналист замечает: «С 1836 года хлопчатобумажная промышленность становится хуже».

Экономисты любят успокаивать свой ум картинами общественного благосостояния, — это главный признак, по которому узнаются они и по которому они ценят друг друга. Но все-таки есть между ними люди желчных мыслей, вечно готовые рассказам о возрастающем благоденствии противопоставлять доказательства упорной нищеты.

Теодор Фикс<sup>8</sup> в декабре 1844 г. давал такую характеристику общего положения дел:

«Продовольствие народов уже не подвержено ужасным нарушениям от неурожайных годов, столь часто производивших голод до самого XIX века. Разнообразие посевов и земледельческие улучшения почти совершенно победили эту язву\*. В 1791 году

---

\* Philosophie de la Misère была издана в 1846 году; если бы автор писал теперь, он заметил бы, что Фикс слишком похвалил прогресс и в этом отношении: страшный голод, поразивший в 1847 году Англию и Францию, доказал, что даже эти передовые страны не слишком еще далеко ушли от экономической неразвитости, обеспечивающей продовольствие от неурожая.

общее производство хлеба во Франции считали в 47 млн. гектолитров; за вычетом посева, это давало 1 гектолитр 65 центилитров (0,785 четверти) на человека. В 1840 году это производство считается в 70 млн. гектолитров и на человека приходится 1 гектолитр 82 центилитра (0,867 четверти). Фабричные изделия возросли в пропорциях по крайней мере столь же сильных, как и питательные вещества; и можно сказать, что масса тканей более чем удвоилась, быть может, более чем утроилась в последние 50 лет. Улучшение технических способов производства привело к этому результату. С начала нынешнего века средняя жизнь возросла двумя или тремя годами, — это верный признак того, что увеличилось благосостояние или, выражаясь иначе, уменьшилась нищета\*.

«В течение 20 лет цифра, доставляемая косвенными налогами

\* Тот факт, что средняя продолжительность жизни возрастает, приводится в доказательство уменьшения нищеты. Но без точного исследования частных цифр, из которых складывается эта средняя цифра, ровно ничего еще нельзя вывести из нее. Низкая цифра среднего продолжения жизни в известной стране зависит главным образом от многочисленности умирающих младенцев. Представим себе, например, что в известном обществе умерло в известном году 20 человек, из которых 5 имели по 1 году, 10 по 40 лет и остальные 5 по 67 лет. По этим цифрам средняя продолжительность жизни оказывается 37 лет ( $5 \times 1 = 5$ ;  $10 \times 40 = 400$ ;  $5 \times 67 = 335$ ;  $5 + 400 + 335 = 740$ ;  $740 : 20 = 37$ ).

Представим теперь себе, что в другом обществе умерло тоже 20 человек, из которых 10 имели возраст 1 год, 5 по 50 лет и остальные 5 по 76 лет. Средняя продолжительность жизни в этом обществе оказывается только 32 года ( $10 \times 1 = 10$ ;  $5 \times 50 = 250$ ;  $5 \times 76 = 380$ ;  $10 + 250 + 380 = 640$ ;  $640 : 20 = 32$ ). Если мы сравним только последние общие выводы, можно вывести заключение, что в первом обществе больше благоденствия, нежели во втором. Но когда мы вникнем в частные цифры, из которых составляются общие выводы, мы увидим, что дело еще вовсе не решено, что, напротив, скорее можно предположить большую степень благосостояния во втором обществе, хотя цифра общего вывода в нем меньше. Действительно, мы видим, что люди, перешедши детский возраст, живут во втором обществе дольше, нежели в первом, следовательно, надобно полагать, что их жизнь не столь изнуряется лишениями, как жизнь взрослых людей в первом обществе. Средняя продолжительность жизни во втором обществе выходит меньше оттого, что число умирающих младенцев составляет в нем большую <долю> из всего числа умирающих, нежели в первом обществе. Теперь надобно еще исследовать, отчего же во втором обществе умирает младенцев больше, нежели в первом. Это может происходить от причин очень различных, кроме недостаточности благосостояния у их родителей. Например: если в этом обществе мужья бьют жен, то само собою разумеется, что и отцы и матери бьют малюток; {быть суровым одинаково может и человек зажиточный и человек бедный — *зачеркнуто*}; очень может быть, что во втором обществе значительное число младенцев умирает просто от суровости общественных привычек, а не от недостатка пищи у родителей. Может также быть, что во втором обществе господствуют более нелепые понятия о детской гигиене, нежели в первом; например, родители, может быть, полагают во втором обществе, что можно пичкать младенца и кашей и щами, а в первом обществе кормят детей несколько рассудительнее. Наконец может быть, что по грубости семейных нравов даже зажиточный муж, или свекор не дает матери, кормящей грудью ребенка, увольнения от таких работ, при которых она

во Франции, без всякого возвышения налогов, возросла с 540 млн. до 720, — это симптом прогресса в бюджете доходов, но еще более симптом экономического прогресса в обществе.

«1 января 1844 в сберегательных кассах было 351½ миллион; из этого числа в парижских сберегательных кассах было 105 миллионов. А между тем сберегательные кассы стали развиваться только 12 лет тому назад, и надобно заметить, что эти 351½ миллион не составляют всей массы реализованных сбережений, потому что эти капиталы получают и другое употребление. В 1843 году из 320 000 работников и 80 000 домашних служителей и служанок Парижа 90 000 работников положили в сбере-

---

должна надолго покидать младенца или от которых портится ее молоко. Все это надобно исследовать, прежде чем можно будет нам сказать, что большая смертность младенцев во втором обществе зависит именно от большей бедности, а не от других причин. Все эти обстоятельства остаются до сих пор не исследованы. Теперь обратимся к вопросу, отчего происходит меньшая смертность младенцев в первом обществе. Мы видели уже, что она может происходить не от большей степени благосостояния, а просто от меньшей грубости семейных нравов или от меньшей нелепости в обращении с младенцем. Но если бы даже она происходила именно от большей благосостоятельности родителей, все-таки без точнейших исследований еще нельзя решить, служит ли это признаком большей благосостоятельности целого общества. Можно представить себе такой случай. Положим, что во втором обществе у половины членов есть порядочный достаток, а другая половина живет в нужде, но все еще не в совершенной нужде, не в такой, чтобы образовалась привычка безбрачия в этой половине. Эта бедная половина общества, ведя семейную жизнь, будет иметь детей столько же, как зажиточная половина, но от нужды будет очень много умирать младенцев из детей этой бедной половины. Теперь представим себе, что в первом обществе бедная половина населения еще несравненно беднее, чем во втором обществе, так что совершенно отстала от семейной жизни. В таком случае женщины этой бедной половины или вовсе не имеют детей, когда сохраняют скромность, или, отдаваясь разврату, имеют очень мало детей. Таким образом, дети в первом обществе, где смертность младенцев меньше, почти все принадлежат только зажиточной половине общества, а в том обществе, где смертность больше, она просто происходит оттого, что бедная половина общества не впадала еще в такую нищету, чтобы потерять привычку к семейной жизни. Если читатель еще не слишком утомлен цифрами, он яснее представит себе влияние такого положения, просмотрев следующий пример. Мы берем наши прежние два общества, из которых в одном умирает 10 младенцев, в другом 5. Мы спрашиваем теперь, каким образом происходит этот феномен, и находим, что он может происходить следующим образом. Положим, что у людей зажиточных из 10 младенцев умирает только 2. Положим, что у людей бедных из 10 младенцев умирает 5. Положим теперь, что есть у нас два общества, состоящие каждое из 1 000 человек. Положим, что в сословиях, ведущих семейную жизнь, бывает в год 1 рождающийся на 20 человек общего их числа. Положим, что у сословий, не ведущих семейной жизни, бывает только 1 рождающийся на 100. Теперь положим, что в каждом обществе по 500 человек зажиточных, и по 500 человек бедных, но только в одном обществе бедность бедной половины еще сносна и не мешает существованию семейной жизни, а в другом бедная половина дошла до такой нищеты, что отказалась от семейной жизни. Тогда мы будем иметь:

В обществе, где бедная половина еще не дошла до полной нищеты и сохраняет семейную жизнь, в этой бедной половине на 500 человек рождает-

гательные кассы 2 547 000 франков, а 34 000 служителей 1 268 000 франков».

Все эти факты совершенно справедливы, и заключение в пользу машин, из них выводимое, совершенно верно: действительно, машины дают сильное развитие общему благосостоянию. Но факты, которые мы приведем теперь, не менее достоверны, и заключение, которое мы выведем из них против машин, будет не менее справедливо: они служат непрерывной причиной павперизма. Я ссылаюсь на цифры самого Фикса.

Из 320 000 работников и 80 000 слуг, находящихся в Париже, 230 000 работников и 46 000 слуг, всего 276 000 человек, не имеют

ся 25 младенцев; из них по пропорции 6 умирающих из 10 рождающихся умирает 15 человек. В зажиточной половине на 500 родится также 25 человек младенцев и из них, по пропорции 2 умирающих на 10, умирает 5 человек. В целом обществе на 1 000 человек родится 50 младенцев и из них умирают во младенчестве 20, а достигают зрелых лет 30. Общая пропорция умирающих 40 процентов.

В другом обществе, где бедная половина дошла уже до полной нищеты и отрелась от семейной жизни, в этой бедной половине на 500 человек родится только 5 младенцев и из них умирает только три. В достаточной половине этого общества число рождающихся и умирающих младенцев то же, как в прежнем обществе: родится 25, из них умирает 5. В целом обществе родится на 1 000 человек только 30 младенцев, а умирает из них только 8, остаются живы 22. Пропорция умирающих младенцев к рождающимся 27 процентов.

В этом случае ясно, что меньшее число умирающих младенцев вовсе не свидетельствует о большем благосостоянии общества. Напротив, именно от чрезмерной бедности одной половины общества происходит тот феномен, что число умирающих младенцев по общей сложности всех сословий оказывается меньше.

Мы представили гипотетический случай, в котором возрастание средней продолжительности жизни происходило бы от увеличения бедности известной части общества. Действительно ли находится какая-нибудь европейская страна в подобном положении, это вопрос, требующий точных исследований, которые до сих пор еще не сделаны. Но должно сказать, что есть сильные признаки соответственности нынешнего положения передовых европейских стран с условиями предполагаемого нами случая. Во-первых, известно, что число рождающихся пропорционально числу населения в них уменьшается точно так же, как в нашем гипотетическом случае. Во-вторых, известно, что фабричные рабочие, да и вообще всякие рабочие больших городов Западной Европы, все больше и больше отстают от семейной жизни. Оба эти признака, совершенно соответствующие условиям нашей гипотезы, возбуждают сильное расположение думать, что есть в западно-европейских обществах та самая причина возрастания продолжительности средней жизни, которая излагается нашим гипотетическим случаем. Если бы этих признаков совершенно не было, тогда возрастание средней жизни ровно ничего еще не свидетельствовало бы о возрастании и уменьшении благосостояния в рабочем классе без точного исследования причин, которыми производится это возрастание средней цифры жизни. Но теперь, имея эти два признака (уменьшение пропорции рождающихся и развитие бессемейной жизни), мы должны сказать, что правдоподобнее всего будет считать возрастание средней жизни феноменом, развивающимся в западно-европейских обществах просто от возрастания нищеты в рабочем классе, пока точными исследованиями не будет придана математическая достоверность этому правдоподобию или не будет раскрыта его ошибочность.



ничего в сберегательных кассах. Кто отважится утверждать, что эти 276 000 человек — расточители, по собственной воле подвергающиеся нищете? Но как бы то ни было, надобно из этих цифр заключить, что из всей массы людей, живущих своим трудом, три четверти или люди нерасчетливые, ленивые и развратные, потому что они не кладут денег в сберегательные кассы, или что они по нищете не могут ничего сберегать. То или другое заключение неизбежно. Но здравый смысл не позволяет винить рабочий класс в целой массе его; потому надобно сложить вину на экономическое устройство. Как Фикс не видел, что его цифры сами изобличают себя?

Надеются, что со временем все или почти все работники будут класть деньги в сберегательные кассы. Не дожидаясь будущего, мы можем теперь же проверить, основательна ли такая надежда.

По свидетельству Ве, мэра пятого Парижского округа, «число неимущих хозяйств, записанных в Парижском бюро благотворительности, простирается до 30 000; это составляет 65 000 человек». В начале 1846 их было 88 474. А сколько бедных, не внесенных в эти списки? Наверное, не меньше. Итак, мы имеем в Париже 180 000 человек в нищете. А сколько еще живет в нужде? Наверное, столько же. Итак, в Париже 360 000 человек нуждающихся.

«Говорят об увеличении количества пшеницы на каждого человека! — восклицает другой экономист Луи Леклер<sup>9</sup>. Но разве нет во Франции огромных округов, население которых не ест хлеба, а питается исключительно майсом или каштанами».

Леклер указывает факт — мы объясним его. Население возрастает преимущественно в больших городах, то есть в пунктах, где потребляется наибольшее количество пшеницы; из этого видно, что среднее количество, приходящееся на человека, могло возрасти без улучшения общего положения.

«Говорят, — продолжает Леклер, — о возрастании потребления. Напрасно стали бы мы говорить, что парижские продавцы не подделывают съестные припасы: подделка эта существует. В Париже, в столице страны самых лучших вин, народ пьет какую-то поддельную гадость противного вкуса и запаха».

То, что говорится тут об частном случае, о вине, можно сказать о неудобствах, приносимых машинами всем предметам потребления. Везде та же система вычитания: каким бы то ни было способом нужно сокращать издержки производства для того, чтобы, во-первых, выгодно выдержать соперничество против производителей более счастливых или богатых; во-вторых, изготовить товары посредством тех бесчисленных нуждающихся покупателей, у которых недостает денег купить ничего хорошего. Виноградное вино, производимое неподдельным образом, слишком дорого для массы потребителей; оно могло бы остаться в погребах торговцев. Виноторговец избегает этого за-

труднения: он не может делать машинами виноград и придумывает другие способы делать вино доступным по цене каждому.

Говорят об увеличении средней жизни; я признаю справедливость этой цифры, но прибавляю, что анализ, из которого она выведена, ошибочен. Предположим население в 10 миллионов человек. Если по какой-нибудь причине средняя жизнь возрастет пятью годами для 1 000 000 в этом обществе, а в 9 остальных миллионах смертность продолжает свирепствовать попрежнему, то, распределив увеличение по всему числу, мы найдем, что средняя жизнь увеличилась для каждого на полгода. О средней жизни, которая выставляется признаком общего благоденствия, надобно сказать то же, что о средней образованности: уровень знаний постоянно возвышается, но это не мешает быть теперь во Франции такому же числу варваров, как во времена Франциска I. Шарлатаны, спекулировавшие железными дорогами, много накричали о важности локомотива для распространения идей: экономисты, всегда готовые повторять пошлости, повторили и эту. Да разве идеям нужны локомотивы, чтобы расходиться по обществу? Но что же мешает идеям расходиться из Института в узкие и жалкие улицы предместий Сент-Антуанского и Сен-Марсельского, где живет эта толпа, скудная мыслями еще более, нежели хлебом? Отчего же между двумя людьми, которые оба живут в Париже, разница по образованности теперь втрое больше, чем в XIV веке, несмотря на омнибусы и на городскую почту?

Разрушительное влияние машин на общественное хозяйство и на положение работников производится сотнями разных способов, которые связаны между собою и развиваются друг от друга: остановкою работы, понижением рабочей платы, избытком производства на фабрике, недостатком рынков, подделкою продуктов, банкротствами, вытеснением рабочих из одного производства в другое, порчею человеческой породы, наконец, болезнями и смертью.

Сам Теодор Фикс заметил, что в последние 50 лет средний рост человека во Франции уменьшился на несколько миллиметров. На ком произошло это уменьшение?

В докладе, читанном перед Академией нравственных наук, Леон Фоше<sup>10</sup> говорит: «Молодые работники бледны, слабы, малорослы, так же вялы в своих мыслях, как и в движениях. В 14 или 15 лет они по росту кажутся не больше 9- или 10-летних детей. Об умственном или нравственном их развитии надобно сказать что есть между ними такие, которые в 13 лет не имеют никакого понятия о добре и зле и которые слышат о нравственных обязанностях в первый раз тогда, когда отправляются в тюрьму».

Да, наука и промышленность делают изумительные успехи; но пока цивилизация не получит новых опор, умственное и материальное развитие пролетариата уменьшается; жизнь стано-

вится дольше и лучше для зажиточных классов, а для бедных становится короче и хуже. Это раскрывается книгами самыми благонамеренными, то есть представляющими вещи в самом розовом свете.

По исследованию Морога <sup>11</sup>, 7 500 000 человек во Франции имеют только по 91 франку в год, то есть по 25 сантимов (6 коп. сер.) в день. 5 су! 5 су! какая роковая сила в этом гнусном припеве!

В Англии (собственно в Англии, не считая Шотландию и Ирландию) размер налога на бедных был:

в 1801 году —	4 078 891 фунтов при населении в	8 872 930 человек
» 1818 —	7 870 801 . . . . .	11 978 875
» 1833 —	8 000 000 . . . . .	14 000 000

Итак, нищета развивалась быстрее народонаселения — куда годятся после этого гипотезы Мальтуса? А между тем в это время, несомненно, увеличивалась средняя цифра благосостояния, — куда же годится после этого статистика?

В первом округе Парижа, населенном людьми зажиточными, умирает в год 1 из 52, а в двенадцатом округе, в Сент-Антуанском предместье, населенном работниками, умирает 1 из 26. Это не мешает возрастанию средней жизни в Париже, по справедливому замечанию Фикса.

В Мюльгаузене, фабричном городе, в 1812 году средняя жизнь была 25 лет и 9 месяцев; в 1827 году она была уже только 21 год 9 месяцев. А между тем средняя жизнь для всей Франции увеличивается. Что ж это такое?

Бланки <sup>12</sup>, не умея объяснить такое возрастание богатства параллельно с таким возрастанием нищеты, восклицает: «Увеличение производства еще не увеличение богатства. Напротив, нищета распространяется по мере того, как сосредоточивается промышленность.

Должна быть какая-то коренная ошибочность в системе, не дающей никакого увеличения ни капиталу, ни труду, увеличивающей затруднение производителей тем самым, что принуждает их увеличивать производство».

Машины обещали нам увеличение богатства; они сдержали слово, но в то же время дали нам увеличение нищеты. Они обещали нам свободу, — я докажу, что они принесли нам рабство.

Машины развивают сословие наемных рабочих. Первая, самая простая и самая сильная машина — фабрика и вообще большая мастерская. В ней сгруппированы работники по своим отношениям к разным частям выделки продукта. Мастерская в одно время увеличивает и массу производства и общественный дефицит.

*(На этом рукопись обрывается)*

## ВАРИАНТ ПОДСТРОЧНОГО ПРИМЕЧАНИЯ К «ОСНОВАНИЯМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»

### I

#### { Четвертая теорема о капитале

Много раз мы замечали сбивчивость, происходящую в изложении политической экономии от того, когда исследование не обращается на коренную сущность дела, а останавливается на второстепенных симптомах его, когда вместо приемов научных употребляется поверхностный метод меркантильной системы. В очень большом размере проявляются у Милля дурные последствия такого слишком неточного метода при изложении этой теоремы. Занятие производительному труду, говорит теорема, дает капитал, расходуемый на обращение труда к работе, а не запрос покупателей на изготовленные продукты труда. Запрос на товары не запрос на труд. Запросом на товары определяется только направление труда, и не количество труда, не размер платы за него.

Достоверность этой теоремы показать было бы очень легко и просто, если бы анализ автора обратился прямо к сущности дела. В чем сущность дела? — *зачеркнуто.*}

Общество имеет в данном году известное количество хлеба, простых сортов одежды, бедных помещений и других предметов, которыми пользуются работники. Из этих вещей известная часть идет на содержание производительных работников, и только она составляет капитал. Другая часть тех же вещей, идущая на содержание прислуги, солдат и других непроизводительных работников или людей вовсе не работающих, вовсе не составляет капитала, а служит предметом непроизводительного потребления. Какое же количество работников может содержаться в этом обществе при занятиях производительным трудом? Дело ясное, что этих работников может быть содержимо только такое число, какое может быть содержимо идущею на их содержание частью хлеба, простой одежды и простых жилищ; а эта часть одна и составляет капитал; поэтому, разумеется, работники содержатся капиталом, идущим на их содержание, а не запросом на товары, ими изготовленные; если капитал не увеличивается, то не может увеличиться и число производительных работников. Запрос на товары явным образом определяет только характер работы, а не число работников. Если, например, на пищу работника нужно две четверти хлеба в год и если на содержание производительных работников употребляется 100 четвертей, то будут иметь содержание и работу 50 производительных работников. Запрос на товары будет определять только, какими работами сколько людей из этого числа будет

занято. Если требуется количество бархата, производимое работою 10 человек, и количество сукна, производимое работою 15 человек, из 50 человек 10 будут заниматься выделкою бархата, 15 выделкою сукна, а остальные 25 какими-нибудь другими производительными работами и каждою из них в пропорции запроса на нее. Если пропорция запроса на разные товары изменится, изменится и пропорция, по которой 50 человек распределены между разными производительными работами.

Вот вся сущность дела. Она так ясна и проста, что излагается в следующих пяти строках:

Количество производительных работников не может быть больше того, какое может содержаться на предоставляемые этим работникам предметы продовольствия; эти предоставляемые производительным работникам предметы продовольствия составляют капитал; итак, без изменения в размере капитала не может изменяться общее число работников, занятых производительным трудом.

Вместо того, чтобы прямо и просто обратиться к этому основному факту, Милль излагает дело при помощи анализа только второстепенных симптомов, и оттого изложение запутывается. Он разбирает один симптом и доходит до своего заключения; но тут представляются разные сомнения и возражения по неудовлетворительности первого анализа. Чтобы опровергнуть их, он должен браться за другие симптомы, и с ними повторяется опять та же история. Вопрос остается запутанным до самого конца. Ближе всего подходит к коренной сущности дела пример, представляемый Миллем в примечании на страницах 200 и 201, — пример двух землевладельцев, из которых один обращает свой доход на содержание работников, а другой на свой собственный стол<sup>13</sup>. Доказательство это, представленное после многих недостаточных разъяснений, излагает, наконец, в истинно-научном виде ту сторону дела, на которую обращено внимание Милля. Но запутав сам для себя сущность вопроса предшествующим поверхностным изложением, Милль и тут в конце сбивается, потому что с самого начала забыл обратить внимание на обстоятельство очень важное: на характер производительного труда, которым заняты работники; а от этого он вовлекается в недосмотр, отнимающий почти всю практическую цену у излагаемой им теоремы. {Чтобы яснее увидеть его ошибку, мы повторим его гипотетическое объяснение, приняв ту предосторожность, что вместо неопределенных выражений «часть работников», «часть продуктов» поставим цифры — *зачеркнуто*.}

Положим, говорит Милль, что землевладелец А, получая ренту, расходует ее на содержание работников. Положим, что он эту ренту получает натурою. Положим, что предварительно дается фермеру извещение, какими продуктами потребуется

уплата ренты. Продуктом, производимым для уплаты ренты, будет в этом случае хлеб, этим хлебом А будет содержать своих работников. Если теперь вместо А явится новый владелец В, который захочет потреблять ренту в виде гастрономических блюд за собственным столом, фермер теперь должен будет употреблять на производство этих дорогих припасов, потребляемых лично одним В, ту часть труда, которая прежде при А производила хлеб, шедший в ренту и обращавшийся на продовольствие работников А; теперь хлеба для этих работников не будет производиться, и они останутся без продовольствия. Но, разумеется, если В не будет в первый год брать ренты, а оставит ее у фермера, фермер может употребить ее на продовольствие бывших работников А, которые, продовольствуясь попрежнему, произведут на второй год роскошное продовольствие для стола В.

Все это совершенно справедливо, но очень неопределенно. При владельце В рента идет на производство предметов для личного потребления В; но на производство каких именно предметов шла она при владельце А? Шла ли она также на производство предметов, потреблявшихся самим владельцем, или на производство предметов, потреблявшихся работниками? Этого существенного обстоятельства Милль не определяет. Положим, что работники А устраивают для него самого дом — в таком случае, действительно, будет продолжаться при владельце В прежнее положение дел, если только даст он фермеру год отсрочки в платеже ренты; в предыдущие годы при владельце А рента шла через руки владельца на потребление работников, производивших предметы, которыми пользовался только сам владелец; теперь, в первый год своего владения, В оставил ренту в руках фермера, который потребит ее также на содержание работников, производящих предметы, которыми будет пользоваться только сам владелец. Но если работники, которых содержал А, производили вещи, служившие в пользу не одному А, назначавшиеся также для простых людей, для этих работников или для их товарищей, <которые> например, строили дома для работников, то положение дел совершенно изменится при В, хотя бы рента и была на первый год оставлена в руках фермера, который станет содержать на нее работников; разница здесь в том, что при А продукты труда, содержимого рентою, обращались на потребление работников, а при В они будут обращаться только на личное потребление владельца.

{Чтобы разница между этими {тремя — *зачеркнуто*} различными положениями дел была яснее, мы, сохраняя все условия, бывшие в гипотезе Милля, предположим, что А сначала держал продовольствуемых рентою работников при {занятии огородничеством, а потом — *зачеркнуто*} постройке {коттеджей, домов, жилищ — *зачеркнуто*} рабочих жилищ, а в последние

годы своей жизни потреблял их труд на {устройство для себя оранжерей — *зачеркнуто*} строение дома для самого себя. Таким образом мы будем иметь {четыре — *зачеркнуто*} три разные положения вещей: 1, положение дел, когда А производил трудом своих работников огородные овощи — *зачеркнуто* рабочие жилища; {мы назовем это первым годом А — *зачеркнуто*} пусть это будет {продолжаться первые десять лет — *зачеркнуто*, первый период владения А. 2, положение вещей в то время, когда работники А занимались строением {оранжерей или ремонтом ее; это будет последний год А; 3, положение дел — *зачеркнуто*} дома для него самого; это будет второй период А; 3, положение дел, когда В будет оставлять ренту на целый год в руках фермера; это будет первый период В; 4, положение дел, когда В нашел излишним оказывать такую странную уступку фермеру и стал брать с него ренту своевременно, а не годом после той поры, в какую мог ее взять; это будет {положим десятый год В — *зачеркнуто*} второй период А\*.

Разные положения, нужные нам для объяснения дела, стали, как видим, довольно многочисленны, и чтобы избежать запутанности мыслей в этом разнообразии положений, чтобы иметь всегда возможность ясного расчета, мы вместо неопределенных выражений введем в наш пример цифры.

По условиям гипотезы, составленной Миллем и принимаемой нами без всяких перемен, поместье предполагается {совершенно уединенным от остального света, живущим исключит — *зачеркнуто*} имеющим известное число населения, в том числе известно число работников. Положим, что этих работников 80 человек и что на продовольствие каждого из них необходимо 9 четвертей хлеба. {Эти 10 человек — *зачеркнуто*} Положим, что рента составляет четвертую часть продуктов, а остальные три четверти остаются в руках фермера. Положим, что каждый работник, занимающийся хлебопашеством, производит 12 четвертей хлеба {Положим, что из 80 работников работает у фермера 60 — *зачеркнуто*}. Теперь посмотрим, как изменяется положение работников в каждом — *зачеркнуто*).

Если трудом, содержавшимся при А на ренту, производились предметы для потрeбления работников, то капитал в поместье с каждым годом увеличивался, с каждым годом возрастало производство поместья и росло в поместье каждый год число работников, из которых каждый мог получать продовольствие обильнее прежнего. В самом деле, положим, что владелец А вступил во владение поместьем после владельца Х, получавшего ренту в виде тонких вин, которые потреблял сам. Положим, что у фермера было 100 работников и что рента составляет половину продуктов. В таком случае из 100 работников фермера 50 занима-

---

\* Повидимому, не А, а В. — *Ред.*

лись производством тонких вин, шедших в ренту, а остальные 50 производили продовольствие для всего числа работников. Если каждый из 100 работников продовольствовался 10 четвертями пшеницы, то 50 работников, производившие продовольствие для себя и для 50 работников, производивших тонкие вина для ренты, производили каждый по 20 четвертей, всего 1 000 четвертей. А, вступая во владение помещьем, предупредил фермера, что будет брать ренту в виде пшеницы. Фермер теперь обратил на земледелие тех 50 работников, которые прежде выделяли тонкие вина. По теории Мальтуса и Рикардо, новый труд, приложенный к земледелию, дает продукты уже не в такой большой пропорции, как давал прежний труд <sup>14</sup>, — впоследствии мы увидим, что причина убыли, ими указываемая, вознаграждается и перевешивается увеличением пропорции продуктов от других обстоятельств, также порождаемых увеличением населения, и что новые 50 работников будут производить пшеницы больше прежних, не по 20, а по 25 четвертей; но пока положим, по теории Мальтуса и Рикардо, что они будут производить меньше прежних, не по 20, а только по 19 четвертей. Все-таки в 1-й год произведено ими хлеба (50 чел. по 19 четв.) 950 четвертей, да прежние земледельцы попрежнему произведут 1 000 четвертей. Всего на второй год будет в поместье 1 950 четвертей, и если работник будет получать вместо прежних 10 четвертей по 11, на второй год можно будет содержать 177 работников ( $1950:11=177\frac{3}{11}$ ). Из них 100 попрежнему произведут 1 950 четвертей, прибылые 77 человек по 18 четвертей — 1 386 четвертей. Всего в поместье будет к третьему году 3 336 четвертей, и если каждый работник будет получать по 12 четвертей, продовольствия достанет на 278 работников ( $3\,336:12=278$ ); из них прежние 177 произведут попрежнему 3 336 четв., прибылые 101 по 17 четв. произведут 1 717 четв., всего к четвертому году будет в поместье 5 053 четверти, и если каждый работник будет получать по 13 четвертей, продовольствия достанет на 381 работника ( $5\,053:13=381$ ); из них 278 человек прежних произведут попрежнему 5 053 четверти, 103 человека прибылых по 16 четвертей произведут 1 648 четв.; всего к пятому году будет в поместье 6 701 четверть, и если каждый работник будет получать по 14 четвертей, продовольствия достанет на 478 работников. Из них в пятый год 93 прибылых по 15 четв. произведут 1 395 четв., прежние 381 попрежнему 6 701, а всего к шестому году будет капитала 8 096 четв., которого, по 15 четв. работнику, достанет на 540 работников ( $8\,096:15=539\frac{11}{15}$ ). Таким образом, даже принимая без всяких ограничений принцип Мальтуса, разъясненный теориею Рикардо, мы, если только потрудимся отдать себе ясный отчет в деле, о котором сам Мальтус и его последователи говорят слишком поверхностно, увидим, что при употреблении ренты на



выгодный труд возрастание средств продовольствия идет вместе с возрастанием населения, что при возрастании общего числа населения возрастает и количество продовольствия, приходящегося на долю каждого человека. В самом деле мы имеем:

	Капитал (продукт предыдущего года, идущий на продовольствие: работников) в четвертях пшеницы	На долю каждого работника приходится продуктов (в четвертях пшеницы)	Число работников, на продовольствие которых достаточен капитал
1-й год А . . . . .	1 000	10	100
2-й » . . . . .	1 950	11	177
3-й » . . . . .	3 336	12	278
4-й » . . . . .	5 053	13	381
5-й » . . . . .	6 701	14	487
6-й » . . . . .	8 096	15	540

Но еще быстрее пойдет возрастание всех элементов, если мы примем в соображение те обстоятельства, которых не обнимает принцип Мальтуса (например, разделение труда, машины, возрастание энергии труда и пр.), и влияния, которые в действительности перевешивают силу принципа Мальтуса, так что в действительности продукт каждого прибылого работника бывает не меньше, а больше продукта прежнего работника, и прибылые работники второго года производят не по 19 и даже не по 20, а по 21 четверти, прибылые работники третьего года не по 18, а по 22 четверти и т. д. Тогда мы будем иметь следующее возрастание капитала и рабочих сил при прежнем возрастании продовольствия работника.

Когда в 1-й год А прибавляется к прежним 50 хлебопашцам еще 50 хлебопашцев, эти новые работники произведут по 21 четверти 1 050 четв., а прежние попрежнему 1 000 четв., всего 2 050; по 11 четвертей на человека, это даст во 2-й год продовольствие 186 работникам. Во 2-й год прибылые 86 раб. произведут по 22 четв., 1 892 четв., а прежние 100 раб. попрежнему 2 050; всего к третьему году продовольствия 3 942 четв., по 12 четв. работнику, на 328 чел. Прибылые 142 чел. в третий год по 23 четв. произведут 3 266 четв., прежние попрежнему 3,942 четв., всего к 4<-му> году будет продовольствия 7 208 четв., по 13 четв. работнику на 554 человека. В 4<-м> году прибылые 226 раб. произведут по 24 четв., 5 424 четв., прежние 328 попрежнему 7 208 четв., всего к 5<-му> году будет продовольствия 12 632 четв., по 14 четвертей работнику, на 902 работника. В 5-й год прибылые 348 раб. произведут (по 25 четвертей) 8 700 четвертей, прежние попрежнему 12 632 четверти; всего в 5-й год будет произведено капитала к продовольствию труда в следующем году 21 332 четверти—количество, достаточное

для 1422 работников, считая на каждого по 15 четвертей. В этом случае все возрастание капитала идет быстрее, нежели по простой геометрической прогрессии; именно мы имеем:

	Количество капитала	Возрастание его сравнительно с предыдущим годом
2-й . . . . .	2 050	—
3-й . . . . .	3 942	92%
4-й . . . . .	7 208	83 »
5-й . . . . .	12 632	75 »
6-й . . . . .	21 332	69 »

(На этом рукопись обрывается)

### НАБРОСКИ ИЗ РАЗДЕЛА «МАЛЬТУСОВ ЗАКОН»

Прежде, нежели начнем излагать свой взгляд на мальтусову теорему и объяснять, к каким заключениям приводит точный разбор ее, мы должны сделать две оговорки.

Читатель, вероятно, уже и прежде находил в наших замечаниях на Милля слишком много вычислений, но в анализе мальтусовой теоремы он увидит целые страницы, состоящие из одних цифр. Мы уже не раз говорили, что сами очень хорошо понимаем, как утомителен подобный характер изложения. Но что же делать, когда необходимо прибегать к математике для обнаружения ошибок, возникающих именно только из того, что общие фразы гораздо легче пишутся и читаются, чем длинные вычисления. Кому не угодно скучать над колоннами цифр, тот может пропускать их и переходить прямо к выводам, которые мы делаем из них. Но мы просим такого читателя не отрицать наших выводов без проверки цифр, на которых они основаны. А мы полагаем, что между нашими читателями найдутся люди, расположенные отрицать наши выводы по привычке верить голословным толкам отсталых французских экономистов и их учеников. Мы обязаны были не отнимать у таких читателей средства рассмотреть основания, по которым мы принуждены не разделять их привычного мнения.

Итак, я печатаю ряды формул и таблиц, составлением которых не мне бы следовало заниматься, потому что я не имею никакой претензии выставлять себя математиком. Каждый студент первого курса математического факультета, каждый хороший ученик гимназии четвертого класса имеет в математике сведения гораздо обширнейшие, чем я. Скрывать это мне было бы напрасно по самому характеру изложения, по неловкости приемов при составлении формул; каждый сколько-нибудь знающий хотя элементарную алгебру читатель увидит, что я никогда не поднимался в ней до уравнений второй степени, что все мои

знания ограничиваются правилами арифметики и практическим знакомством с употреблением логарифмов. То, что мне стоило целых недель или месяцев, другому, сколько-нибудь знакомому с приемами математического анализа, не стоило бы и пяти минут труда. Но что же делать, если люди, знающие математику, обращали так мало внимания на какие-нибудь политико-экономические задачи, кроме элементарных вопросов о продолжительности средней жизни, — вопросов столь простых, что и не стоило прибегать к помощи математиков за их решением: политической экономии представляется бесчисленное множество других вопросов, которые действительно нуждаются в их помощи, но ни одним из них не занимались до сих пор математики, как бы следовало; я не виню их в этом: им не были указываемы эти вопросы, и в неразработанности таких задач виноваты не математики, а сами экономисты, не понимавшие, что эти задачи требуют не общих фраз, а математического разбора. По недостатку верного взгляда на характер экономических вопросов экономисты обращались к математикам за помощью только, можно сказать, в пустых случаях.

Возьмем в пример хоть мальтусову теорему. По какой прогрессии, с какой быстротой размножается число людей при данном проценте рождений и смертей? Это очень хорошо может сам узнать каждый, кто помнит из арифметики главу о геометрической прогрессии. Но некто Зюсмилх, живший в половине прошлого века, попросил Эйлера составить ему эти таблицы, которые точно так же мог бы составить первый встречный учитель арифметики какой-нибудь приходской школы. Мальтус увидел эти таблицы и заметил в них, что число людей при некоторых пропорциях рождений и смертей возрастает очень быстро и притом по геометрической прогрессии. На этом он и утвердился, на этом и построилась вся его теория. Но когда он составил свою формулу об уменьшении производительности земледельческого труда при возрастании населения, явились новые вопросы, ответа на которые не было в эйлеровых таблицах. Ни Мальтус, ни кто другой из его последователей не составил формул и таблиц по этим новым вопросам, — мало того что не составил, даже не заметил, что эти вопросы также требуют математического разбора; мало того, что ни Мальтус, ни его последователи не поняли этого сами, — они даже не поняли, когда Годвин стал говорить им о необходимости дальнейшего математического труда. Голос Годвина был заглушен криками: «не нужно нам ничего больше, мы знаем все, что нужно знать: мы достигли окончательных выводов»; а эти их выводы были не больше, как неопределенные фразы, не дающие никакого отчетливого представления о сущности дела.

Из этих новых вопросов, порождаемых мальтусовой теоремой, некоторые по силам даже и мне, при всей скудости моих ма-

тематических знаний; я разбираю их. Человек, более меня знакомый с математикой, легче меня пришел бы к выводам, найденным мной, но если я дошел до них с большим трудом, между тем как он открыл бы их легко, это уже только мой убыток, только потеря нескольких месяцев моей жизни на работу, которую другой мог бы исполнить в один день; а самой верности выводов ограниченность моих математических знаний вовсе не вредит, это может увидеть каждый, кто потрудится проверить путь, которому я следовал. Представились мне и другие вопросы, которых я не мог решить, но которые очень легко решит всякий, знакомый с высшим анализом. Эти вопросы я отмечаю с надеждою, что кто-нибудь из математиков не пожалеет двух-трех часов времени на составление формул, по которым они должны решаться. {Имея претензию на то, что разъяснил значение мальтусовой теоремы точнее, чем понималось оно прежде, я очень хорошо знаю, что наши экономисты, не дерзающие иметь ни о чем собственного суждения, не составляют той публики, к которой следовало бы мне обратиться с моими выводами; они могут быть оценены только учеными самостоятельными, только учителями, а не нашими учениками, умеющими только повторять {вычитанное во французск — *зачеркнуто*} то, что слышат от учителей. Но я не могу предвидеть, скоро ли найду возможным изложить перед зап— *зачеркнуто*}.

Начнем с частного примера, на котором будет видно, в чем состоит сущность дела.

Мы видим, что во Франции, точно так же, как и во всякой европейской стране, огромное большинство населения живет скудно, что от этого происходят болезни, пороки, преждевременная смерть. Это происходит, по мальтусовой теореме, главным образом от недостатка пищи. Но неужели французская почва не может производить гораздо большего количества пищи, достаточного на изобильное продовольствие всех ее нынешних жителей? — Может, отвечает нам мальтусова теорема, но для этого нужно употребить на земледелие гораздо большее количество труда.

Припомним сущность мыслей, изложенных Миллем.

Если известное число хлебопашцев производит на данном пространстве земли известное количество хлеба и если к этим прежним хлебопашцам прибавится некоторое число новых со-трудников, то труд каждого из новых хлебопашцев произведет количество хлеба меньшее того, какое производилось трудом каждого из прежних хлебопашцев. Например, если 100 хлебопашцев, обрабатывая на одной квадр. географической миле известное количество десятин, производили 4 000 четвертей хлеба, то средним числом каждый из них производил 40 четвертей. Если на той же квадратной миле явится еще 100 новых хлебопашцев, то эта прибавка рабочих сил уже никак не произведет еще новых 4 000 четвертей хлеба, а произведет только 3 500, или 3 000 или

2 500 четвертей, — положим, 3 000 четвертей. Таким образом мы будем иметь всего 200 хлебопашцев, производящих 4 000 четвертей \*, и каждый хлебопашец будет производить средним числом уже не 40 четвертей, как прежде, а только 35.

Это происходит оттого, что из разных почв и местоположений, составляющих квадр. милю, первые 100 хлебопашцев выбрали самые лучшие участки, и новые хлебопашцы должны приняться за обработку земель, менее плодородных или имеющих менее выгодное положение.

Такой результат происходит, впрочем, только при том предположении, что земледельческие процессы не усовершенствовались. Но в них может произойти усовершенствование, сила которого может быть так значительна, что вознаградит или даже перевесит убыль в пропорции производительности труда, происходящую от меньшего плодородия земли, на которую обращается труд новых хлебопашцев; положим, например, что к тому времени, когда явились эти новые хлебопашцы, прежний плуг заменился усовершенствованным, который глубже и лучше разрыхляет землю, так что при нем жатва бывает на одну четвертую часть обильнее, нежели при прежнем. Тогда мы получим:

Прежние 100 хлебопашцев, работая усовершенствованным плугом, произведут уже не 4 000, а 5 000 четвертей. Труд новых хлебопашцев будет менее успешен по прежней пропорции 3 : 4; стало быть, они произведут помощью усовершенствованного плуга

$$x : 5\,000 = 3 : 4,$$

3 750 четвертей. Все 200 хлебопашцев вместе произведут  $5\,000 + 3\,750 = 8\,750$  четвертей, и каждый хлебопашец средним числом произведет  $8\,750 : 200 = 43,75$  четверт.

Таким образом, несмотря на прибавление в числе хлебопашцев, заставившее их обратиться к обработке худших земель, общая производительность земледельческого труда будет выше прежней благодаря введенному усовершенствованию.

Но это благотворное влияние введенного усовершенствования не будет в состоянии долго уравнивать понижение производительности от новых увеличений числа хлебопашцев. В самом деле, пусть прибавится к прежним 200 земледельцам еще 200, труд их будет уступать производительностью труду прежних по принятой нами пропорции

$$x : 8\,750 = 3 : 4; \quad x = 6\,562,5.$$

Прежние 200 хлебопашцев попрежнему произведут 8 750 четв., а новые 200 хлебопашцев только 6 562,5; все 400 хлебопашцев произведут таким образом  $8\,750 + 6\,562,5 =$

---

\* Ошибка — нужно не 4 000, а 7 000 четвертей. — Ред.

= 15 312,5 четвертей, так что каждый из 400 работников будет производить средним числом только по 38,28 четвертей. Для предотвращения этого понижения производительности нужно было бы опять произойти новому усовершенствованию.

Таким образом история человечества по отношению к продовольствию от хлебопашества представляется постоянному борьбе двух сил, имеющих противоположное влияние; с одной стороны, производительность земледельческого труда повышается усовершенствованиями, с другой стороны, падает от размножения людей.

Вся важность состоит в том, какое представление должны мы иметь о размере могущества, с которым действует понижающая сила; от этого зависит решение вопроса о возможности или невозможности человеку успешно бороться с нею. Быть может, даже при самом быстром размножении людей, какое только допускается физиологическим устройством человека, понижающая сила действует в таком размере, что практически возможный или даже легкий размер земледельческих усовершенствований достаточен для уравновешения этого вредного влияния. В таком случае, если люди не могут размножаться со всею быстротою, какая физиологически возможна, препятствием тому надобно было бы считать неудовлетворительное устройство человеческих дел. В этом случае господство нужды, пороков, преждевременной смертности в известном обществе надобно приписать просто устройству этого общества. Так думал знаменитый английский прогрессист конца прошлого и начала нынешнего века, Годвин, одна из статей которого и послужила поводом к тому, что Мальтус занялся исследованиями {имевшими целью опровергнуть систему Годвина, винившую только самих людей, их нравы и понятия и ставившую источником бедности, пороков только экономическое устройство — *зачеркнуто*}, имевшими своим результатом знаменитую мальтусову теорему, сущность которой мы изложили.

Указав, что самая способность человеческого рода служит причиною понижения производительности земледельческого труда, Мальтус был так поражен могуществом этой силы, постоянно стремящейся понизить уровень благосостояния, что провозгласил действие земледельческих усовершенствований очень слабым перед нею. Если так, если действительно усовершенствования не могут идти с быстротою, которая была бы нужна для уравновешивания полного действия всей физиологической способности людей к размножению, тогда, конечно, коренною виною нужды надобно считать физиологическое наше устройство; единственное спасение для людей — удерживаться от физической любви. Мальтус это и говорит; он даже чувствует надежду, что когда люди убедятся в неоспоримости предлагаемых им правил, они будут исполнять их, — надежда, свидетельствующая о

том, что этот пронизательный человек при всем своем гениальном уме плохо понимал человеческую натуру. Против органической потребности человек бессилен. Некоторые люди, поставленные в исключительное положение или одаренные исключительной силою характера или исключительностью физических страстей, могут отказывать себе добровольно в удовлетворении физическим требованиям, но число таких людей совершенно ничтожно, и результат их воздержности не производит никакой заметной разницы в статистических цифрах. Можно ли, например, рассчитывать, что средняя цифра потребляемой пищи заметно уменьшается от чрезвычайной воздержности некоторых людей в еде? Нет, страсть насыщать желудок так непобедима для массы, что 9 999 человек из 10 000 всегда будут наедаться досыта, если только могут. Удовлетворению потребности в пище могут встречаться внешние препятствия; но известно, что потребность физической любви никогда не затрудняется внешнею невозможностью удовлетворения. Обстоятельства могут удерживать людей от вступления в брак, но это нисколько не мешает им нарушать совет Мальтуса о воздержности. Если он верил в практичность своего совета, он предавался иллюзии, совершенно несообразной с человеческими страстями; он и люди, разделяющие его мнение в этом отношении, должны называться утопистами, — они заслуживают этого имени гораздо больше, чем Кампанелла, Томас Морус или Кабе<sup>15</sup>. Если люди не могут размножаться со всею быстротою, допускаемою устройством их организма, задержкой всегда будет не нравственное воздержание, предлагаемое Мальтусом, не «предупреждающая задержка», по его выражению, а «положительная задержка», нищета, порок, война, болезни и т. д. Если существуют какие-нибудь учреждения, мешающие развитию капитала, возрастанию земледельческого продукта, то не стоит хлопот отменять эти учреждения: всеми возможными реформами страдания массы отсрочились бы лишь на самое короткое время, и размножение людей очень скоро понизило бы уровень опять на ту же степень нищеты, болезней и т. д., на какой был он при существовании отмененных вредных учреждений. Разница была бы лишь в том, что когда учреждения задерживали размножение людей, то число страдальцев было меньше, чем будет по их отменении, на время облегчившим массу и открывшим ей простор к размножению. Сам Мальтус прекрасно говорит об этом в первых трех главах третьей книги своего трактата о принципе населения. Мы приведем здесь важнейшие места из этих замечательных глав (не имея под рукой английского подлинника, мы переводим с французского перевода. по изданию Жозефа Гарнье, Collection des économes, том VII, Париж, 1852, ст. 317—345).

Ему казалось, что он может сделать эту уступку, именно не вреда силе своего аргумента; ему казалось, очевидно, что и в 25 лет земледельческий продукт не может удвоиться и что таким образом уже не останется пищи для полного числа людей, какое могло бы явиться к концу этого периода, если бы способность размножения действовала с полною силою. Но теперь мы знаем факты, показывающие противное. Мы знаем, например, что если распространить на всю Францию обработку земли по плодопеременной системе вместо господствующего теперь трехпольного хозяйства и других слишком отсталых способов пользования землею, то без увеличения нынешнего размера полей Франция могла бы производить хлеба в восемь или в девять раз больше, чем теперь. При периоде удвоения в 25 лет такое количество хлеба понадобилось бы не раньше, как через целое столетие, при десятилетнем периоде удвоения уже через 40 лет, и потому становится важным вопрос о том, во сколько же именно лет стало бы удваиваться число жителей во Франции при водворении полного изобилия. Если периоды удвоения при наибольшей возможной быстроте размножения людей довольно продолжительны, то французы успели бы, если бы захотели распространять вместо дурных способов обработки хорошие, поддерживать высоту земледельческого продукта наравне с размножением населения, по крайней мере до тех пор, пока оно увеличилось бы до восьми раз против нынешнего числа. Но если периоды удвоения могли бы быть, например, по 10 лет, как готов принимать Мальтус, то население Франции увеличилось бы в восемь раз в течение 30 лет, и действительно у французов не могло бы достать силы на усовершенствование своего земледелия соразмерно такому быстрому требованию. Чтобы наши слова стали яснее, представим соображения известного агронома Гаспарена и сделаем выводы из них.

Он говорит («Cours d'agriculture», том V, стр. 233—237), что при плодопеременном хозяйстве каждые 100 гектаров возделываемой земли дают продовольствие для 931 человека, если будет введен с достаточным удобрением следующий четырехгодичный севооборот: 1) картофель, 2) пшеница, 3) клевер или вики, 4) пшеница. Если бы такой севооборот был введен на всех 32 000 000 гектарах земли, находящихся ныне во Франции под хлебопашеством, то Франция могла бы легко кормить до 297 000 000 человек, то есть население слишком в восемь раз больше нынешнего. Итак, со стороны французской почвы нет препятствий французскому населению размножаться по крайней мере в течение трех первых периодов удвоения. Но важность состоит в том, что для введения плодопеременной системы на всех этих 32 000 000 гектарах возделываемой земли нужно было бы, по расчету Гаспарена, затратить на улучшение почвы, на размножение скота и на приобретение улучшенных земледельче-



ских орудий капитал до 51 150 000 000 франков, кроме того земледельческого капитала, которым уже владеет Франция. Мы уже знаем, что такое в сущности капитал. Это — ни более ни менее как особенное видоизменение труда. Когда капитал оценивается на деньги, это надобно понимать так, что известное количество труда выражено в денежном счете по существующим ценам наемного труда. Гаспарен считает годичное содержание земледельческого работника и плату его от 550 до 600 франков. Таким образом мы должны понимать, что для земледельческого усовершенствования, о котором говорит Гаспарен, нужен был годичный труд 85 или 90 миллионов работников. Посмотрим же теперь, каким количеством рабочих рук может располагать Франция? Гаспарен представляет следующие цифры (том V, стр. 176).

Общее число мужчин от 18 до 60 лет	
во Франции . . . . .	9 372 000
Из них уже занято земледельческими тру-	
дами . . . . .	4 930 000

Итак, всего остается менее, чем 4 500 000 человек, которые могли бы заняться трудом, нужным для усовершенствования, о котором говорит Гаспарен.

Мы видим, что если бы все дело, требуемое для увеличения земледельческого продукта в восемь раз, нужно было совершить в немного лет, то во Франции недостало бы рабочих сил для удовлетворения этой надобности. Но совершенно иной вопрос, если окажется, что это дело не требует чрезвычайной спешности, что население не может удваиваться быстрее, чем в 25 лет, а потому земледельческий продукт, в восемь раз больший, понадобился <бы> никак не раньше 75 лет, стало быть, и работу над введением усовершенствованного земледелия можно бы разложить во Франции на 75 лет; тогда оказалось бы, что на первый год довольно было бы заняться этим делом 400 000 работников, то есть менее чем одной одиннадцатой части тех взрослых мужчин, которые не занимаются теперь земледелием, соразмерно тому, как росло общее число населения, росло бы и число этих работников, оставаясь все в одной пропорции к общему числу населения, то есть составляя во все следующие годы несколько менее одной двадцать третьей части всех взрослых мужчин, как составляло в первый год \*. Если бы Франция серьезно захотела усовершенствовать свое земледелие, она, вероятно, могла бы найти этих 400 000 работников для пособия

---

\* Если мы возьмем 75 членов геометрической прогрессии, имеющей такую величину знаменателя, чтобы 26-й член был вдвое более первого, 51-й член вдвое более 26-го и т. д., и если величину первого члена мы возьмем в 400 000, то сумма всех членов будет около 100 000 000, а Гаспарен требует для полного совершения задачи только от 85 до 90 миллионов.

нынешним своим земледельцам. Положим, что из 4 500 000 взрослых мужчин, не занимающихся в ней земледелием, очень многие заняты работами, полезными и нужными для общества; но, вероятно, найдется из них гораздо более одиннадцатой доли таких людей, которые или не занимаются ничем дельным, или вовсе ничем не занимаются.

Если читатель не был оттолкнут от чтения этими арифметическими подробностями, очень утомительными, как мы сами знаем, но необходимыми для разъяснения дела, — если он не потерял охоты следить за нашим изложением, то он, конечно, видит, что не в том важность, действительно ли люди имеют физиологическую тенденцию размножаться по геометрической прогрессии, а именно только в том, как быстра эта прогрессия, какое наименьшее число лет могут иметь периоды удвоения при всевозможной быстрой размножения, какая только допускается устройством человеческого организма. А вот именно этого и не исследовал Мальтус, не исследовал и никто из его учеников. Он и они все остановились на одном предисловии к исследованию вопроса, вообразили, что решили всю задачу, когда едва-едва только коснулись первого элемента, из которого только еще возникает она.

Почему они так сделали, почему они почли свое дело конченным, еще и не начав настоящего дела, читатель легко сообразит, вспомнив побуждения, по которым Мальтус принялся за свое исследование. Целью его было показать, что человеческие бедствия происходят главным образом не из недостатков экономического устройства, а из законов самой природы, что никакие реформы не принесут прочного улучшения человеческому быту, что поэтому слишком горячиться из-за них не для чего: все равно, какой порядок вы ни введете, очень быстро возродятся все прежние бедствия.

Человечество может размножаться по геометрической пропорции, и в Североамериканских Штатах число людей удваивается в 25 лет, — чего же вы хотите? Всякое улучшение будет поглощено этим быстрым размножением. Эффект был произведен, цель достигнута, стало быть и дело кончено. Каждый, кто не хотел сказать: я не хочу реформ, имел теперь против них неотразимый аргумент. Реформаторы были выставлены перед глазами толпы за людей, которые хлопочут о пустяках и не понимают неизбежного хода человеческих вещей.

Но для нас, интерес которых вовсе не в том, чтобы опровергнуть Годвина или опровергнуть его противника Мальтуса, а только в том, чтобы доискаться истины, — для нас, которым все равно, к каким бы заключениям ни привела истина, дело вовсе не кончено тем, что Мальтус нашел против Годвина аргумент очень поразительный своей видимою простотою, мы {хотим знать, как устроена человеческая натура — *зачеркнуто*} видим,

что дело вовсе не кончено, что нужно исследовать вопрос гораздо точнее.

Итак, мы спрашиваем, какова же нормальная быстрота размножения людей, если их потребности, имеющие своим результатом размножение рода, не стесняются теми задержками, о которых говорит Мальтус.

{...Мальтуса и результат вытек страшный. Мальтус и его последователи не догадались, что призрак, их устранивший, возник просто от неумения их сообразить разницу результата при счете процентов по годичным и 25-летним срокам. Население удваивается в 25 лет, стало быть через 25 лет понадобится вдвое больший продукт. {Ведь это страшно сказать — *зачеркнуто*}. Но позвольте: разве население вдруг удвоилось в течение 25-го года, а в прежние годы все оставалось на первоначальной цифре и разве вдруг понадобилось в один год удвоить продукт, а не рос он понемногу в каждый из 25 годов периода? Мальтус и его последователи просто не умели составить счета по своей собственной формуле. Вникнем в закон, по которому идет возрастание продукта в этой формуле.

Если 100 человек работников производят 100 возов хлеба и если 200 человек произведут 200 возов, то дальше новое удвоение работников не удвоит продукта, а прибавит к нему только 100 возов. Что это значит? Производительность труда каждого из 200 новых работников вдвое меньше производительности труда прежних. Итак, мальтусова формула говорит нам, что производительность земледельческого труда новых работников уменьшается пропорционально возрастанию всего числа работников. Когда число работников стало вдвое больше, производительность труда новых работников стала вдвое меньше — *перечеркнуто*).

Но мы знаем из Милля, верно передающего в этом случае мысли самого Мальтуса, что это говорится только о результате труда, остающегося без всяких усовершенствований; если же земледельческие процессы совершенствуются, то производительность труда первоначальных работников увеличивается; пропорционально тому бывает и производительность труда новых работников. Таким образом действие закона, по которому увеличение числа работников уменьшает производительность земледельческого труда, может до некоторой степени вознаграждаться усовершенствованием земледельческих процессов. Мы знаем, что всякие вообще усовершенствования в других отраслях промышленности, или в учреждениях народа, или в его обычаях имеют точно такое же влияние. Прогресс цивилизации, как мы видели из Милля, непременно увеличивает производительность земледельческого труда. Посмотрим же теперь, по какой прогрессии

должна она возрастать от усовершенствований в земледельческих процессах и от других успехов цивилизации, чтобы возрастанием из этого источника вознаграждалось уменьшение производительности, происходящее от увеличения числа работников. Миллю кажется, что эти земледельческие и другие усовершенствования должны иметь громадную величину, необычайно быстрое возрастание для уравновешения этой убыли, — должны иметь такое быстрое и колоссальное развитие, что нет и надежды на возможность постоянного или хотя бы сколько-нибудь продолжительного равновесия. Попробуем считать по 25-летним срокам, как считает Мальтус с своими последователями.

Возьмем население в 1 000 человек. Положим, что из них 100 взрослых мужчин земледельцы. Положим, что каждый из этих земледельцев производит 30 четвертей хлеба. Всего производится хлеба в обществе 3 000 четвертей, то есть по три четверти на человека.

Через 25 лет население удвоилось, число хлебопашцев также. Но производительность труда новых хлебопашцев вдвое меньше производительности прежних: они производят не по 30, а уже только по 15 четвертей; всего на 2 000 человек производится только 4 500 четвертей (100 прежних земледельцев по 30 четвертей, 3 000 четвертей, 100 новых по 15 — 1 500 четвертей). Это дает только по 2,25 четверти на человека в обществе, а нужно по 3 четверти, нужно 6 000 четвертей. Чтобы достигнуть такого результата, людям нужно произвести улучшения, действием которых первоначальная производительность земледельческого труда увеличилась бы не менее как на целую треть. Тогда первоначальные 100 работников произвели бы вместо 30 четвертей по 40, всего 4 000 четвертей, а новые работники половину этого числа 2 000; итог производства был бы 6 000 четвертей. Меньшим размером улучшений нельзя достичь уравновешения между потребностями общества и убылью, происходящей от меньшей производительности труда новых работников сравнительно с трудом первоначальных. То же самое будет повторяться в каждом периоде удвоения, и в каждые 25 лет нужен размер улучшений, от которого производительность земледельческого труда поднималась бы на целую треть выше прежнего.

Размер улучшений требуется действительно громадный, и трудно полагать, чтобы ход усовершенствований мог долго идти в такой прогрессии; потому-то Мальтус и все его последователи, в том числе даже Милль, говорят: всякие усовершенствования могут иметь только мимолетное влияние; лишь на минуту устраняется дефицит продовольствия улучшениями технических процессов или общественного быта: «волна, едва отступивши, приливает снова» и снова топит людей, если они размножаются с полной быстротой, к какой способно человеческое племя.

1 Все это совершенно так, если вести счет по 25-летним периодам. Но ведь на самом деле не вдруг в 25-й год удваивается население; оно растет до этого числа небольшими ежедневными прибавками. В Англии, например, каждый день прибывает по несколько сот лишних жителей от перевеса рождающихся над умирающими; каждая новая земледельческая операция должна производить хлеба настолько больше, насколько увеличилось население со времени прежней операции. В наших климатах, имеющих одну жатву в год, надобно считать возрастание населения и потребное для него возрастание земледельческого продукта по годичным срокам. Попробуем вести такой счет, сообразный с действительным ходом дел, и посмотрим, что выйдет.

Если население удваивается в 25 лет, как мы должны считать по мальтусовой формуле, то годичный процент его возрастания 2,81138; то есть, общество, имеющее 1 января какого-нибудь года 10 000 000 населения, будет иметь 1 января следующего года 10 281 138 человек. Производить вычисления над таким большим числом было бы затруднительно, потому для краткости положим процент возрастания 2,9 и будем считать надобности общества, имеющего 10 000 человек, полагая по-прежнему, что одна десятая часть жителей — взрослые мужчины земледельческого сословия и что каждый работник производит 30 четвертей пшеницы, по 3 четверти на каждого жителя.

При проценте возрастания 2,9, если в первом году было 10 000 человек и 1 000 земледельцев, то во втором году будет 10 290 человек всех жителей и 1 029 человек земледельцев. Для полного продовольствия всего числа жителей нужно во второй год 30 870 четвертей ( $10\,290 \times 3$ ). Посмотрим, какой недочет окажется по мальтусовой формуле от уменьшения производительности труда новых хлебопашцев и какой размер улучшений нужен для уравнивания этого недочета.

Прежние 1 000 хлебопашцев по-прежнему произведут по 30 четвертей, всего 30 000 четвертей.

Производительность труда каждого из 29 новых хлебопашцев будет настолько ниже 30 четвертей, насколько 1 029 больше 1 000.

$$30 : x = 1\,029 : 1\,000.$$

Из этого мы получаем:  $x = 29,15$ ; то есть каждый новый земледелец произведет не по 30, а только 29,15 четвертей. Все вместе 29 новых хлебопашцев произведут 845,35 четвертей.

Итого весь земледельческий продукт второго года будет только 30 845 35 четвертей, между тем как для полного продовольствия было бы нужно 30 870 четвертей. Таким образом дефицит составляет 24,65 четвертей. Какой же размер улучшений нужен для уравнивания этого дефицита?

Для его покрытия производительность первоначального

труда должна стать настолько выше 30 четвертей, насколько 30 870 больше 30 845,35:

$$30 : x = 30\,845,35 : 30\,870$$

Из этого мы получаем:  $x = 30,0240$ ; то есть усовершенствования должны быть так велики, чтобы труд первоначального работника производил вместо прежних 30 четвертей 30,0240 четвертей. В самом деле тогда мы будем иметь:

1 000 прежних работников производят по 30,0240 четверти, всего 30 024,0 четвертей.

29 новых работников производят каждый настолько меньше 30,0240 четверти, насколько 1 029 больше 1 000.

$$x : 30,0240 = 1\,000 : 1\,029$$

Из этого мы получаем:  $x = 29,19$ ; то есть каждый новый работник произведет по 29,19 четвертей, а все 29 новых работников вместе 846,51 четверти.

Таким образом весь продукт второго года будет:

$$\begin{array}{r} 30\,024,0 \\ 846,51 \\ \hline 30\,870,51 \end{array}$$

то есть полный продукт, какой нужен на продовольствие всего увеличившегося населения\*.

Так вот какова величина годового улучшения, нужная для уравновешения убыли производительности, происходящей от увеличения числа работников. Этот размер годового улучшения равняется 0,024 четверти на 30 четвертей, то есть составляет 0,08 процента. В течение всего 25-летнего периода эти ежегодные улучшения составляют

$$\left(\frac{10\,008}{10\,000}\right)^{25} = \frac{1\,022}{1\,000},$$

то есть в течение всего 25-летнего периода удвоения довольно будет произвести улучшения, возвышающие производительность всего только на 2,2%. По неточному счету целыми 25-летними сроками оказывалось нужно в каждые 25 лет возвышение производительности на целую треть, а по правильному вычислению годовых приращений оказывается, что этот размер улучшений будет достаточен на целые 360 лет.

Отчего такая разница? От той же самой причины, по которой должник, занявший 100 рублей по 5%, обязан будет уплатить 339 рублей процентов, если отсрочит платеж их до 25 года, и обязан будет уплатить всего только 125 рублей во

\* Мы получили в сумме 0,51 четверти больше, чем требует точность вычисления; это потому, что при вычислении мы брали конечные дроби вместо бесконечных, какие получаются при точнейшем вычислении.

все эти 25 лет, если станет исправно производить уплату каждый год.

Теория сложных процентов—вещь очень важная для всех хозяйственных соображений и в частных делах и в народном быте.

В переводе на обыкновенный язык эти поразительные разницы между цифрами, удовлетворяющими задаче при разной продолжительности сроков, обозначают вот что: потеря времени — великий убыток, страшная беда; надобности, которым очень легко удовлетворить, своевременно принимаясь за их удовлетворение, возрастают не под силу человеку, если он пропускает время. Это мы видим во всем. Вы хотите, например, чтобы ваш сын поступил в университет или ваша дочь хорошо говорила по-французски: начинайте учить их во-время, они легко приобретут эти знания. Но если вы оставите сына безграмотным до 20 лет, то уже, по всей вероятности, никакими усилиями никогда он не приготовится к приемному экзамену, или если ваша дочь не будет до 20 лет слышать слова по-французски, то, по всей вероятности, никогда уже не приобретет она сносного французского выговора, как бы ни старались об этом. Вот только об этом-то и не знали Мальтус с своими последователями, вот только от этого-то и представилась в ужасающем виде формула, которая в действительности разрешается очень легко под тем условием, чтобы нация занималась данным трудом, а не теряла времени и сил на пустяки.

{Длинные выкладки, к которым принуждены мы были прибегнуть, конечно, утомительны; но читатель волен и не просматривать их, если не интересуется вопросом об отношении населения к средствам продовольствия. В таком случае он пропустит и следующие этюды о возрастании населения в Соединенных Штатах, о наивысшей мере, какую можно принять для размножения человеческого племени, и, наконец, о размере перемен, требуемых мальтусовой формулой для уравнивания средств к продовольствию с размножением людей. Пропустив эти страницы, наполненные цифрами, он прямо может перейти к отделу, в котором мы излагаем выводы, основанные на этих выкладках и счетах — *перечеркнуто*.}

## **О возрастании населения в Соединенных Штатах**

Производящиеся через каждые десять лет цензы населения Соединенных Штатов служат единственными статистическими данными, на которых основан вывод о способности людей размножаться с быстротою, производящею удвоение числа их не более как в 25 лет. Первый из этих цензов был сделан в 1790 году; теперь производится восьмой, результаты которого можно уже предугадывать: судя по всему, следует полагать, что процент возрастания окажется в последние 10 лет не меньше

процента прежних десятилетий, а сличение цифры прежних семи цензов действительно показывает, что население Соединенных Штатов удваивалось в каждые 25 лет. Всех жителей в Соединенных Штатах считалось

Годы	Число жителей
1790 . . . . .	3 929 827
1800 . . . . .	5 305 941
1810 . . . . .	7 239 814
1820 . . . . .	9 638 191
1830 . . . . .	12 866 020
1840 . . . . .	17 069 453
1850 . . . . .	23 263 488

Сравним цифры, отстоящие одна от другой на 50 лет, и мы увидим, что население в 50 лет учетверялось, то есть удваивалось каждые 25 лет, или даже возрастало несколько больше, чем в этой пропорции. Число жителей в 1840 году было слишком в четыре раза больше числа жителей в 1790 году; в 1850 году было слишком вчетверо больше жителей, чем в 1800 году. Мы говорили, что Мальтус прямо на этом и основал свой вывод \*. Ему, как мы говорили, скоро заметили, что тут есть грубая ошибка. Число жителей возрастало в Соединенных Штатах не от одного размножения прежнего населения, а также и от прибыли переселенцев. Что ж надобно сделать, чтобы узнать, какую часть прибыли отнести к приливу переселенцев и какую приписать естественному размножению людей. Мальтус и его последователи считали, сколько прибыло переселенцев, выключили эту цифру из последнего ценза, а все остальное число стали считать произошедшим от размножения первоначальных жителей. Пропорция возрастания от этого мало изменилась. В самом деле, при сравнении цензов 1790 и 1850 гг. по этому способу оказывается такой результат (цифры мы берем из официального отчета о 7 цензе: The seventh census. Report of the superintendent of the Census for decemer I, 1852, Washington, 1853):

С 1790 по 1850 год прибыло в Соединенные Штаты переселенцев 2 722 198 человек (The Seventh census, стр. 132—133). Выключая эту цифру из числа жителей 1850 года, получаем в остатке 20 541 290. Сравнивая эту последнюю цифру с цифрой 1790 года, мы видим, что в 60 лет население возросло до 523 %, что составляет годовичное возрастание в 2,7949 %; а при таком

\* Во время первого издания его книги (1798) из этих семи цензов был, разумеется, только один первый, но с половины XVII века производились в Соединенных Штатах приблизительные вычисления количества жителей; они показывали такую же пропорцию возрастания. Теперь об этих вычислениях, предшествовавших 1790 году, никто уже не упоминает, потому что ненадежность признана всеми, и когда рассуждают о возрастании населения в Соединенных Штатах, то имеют в виду исключительно цензы 1790 года и следующих годов.



проценте население удваивается в 25 лет, 1 месяц, 20 дней. Что ж, разница действительно не велика: без вычета переселенцев период удвоения получался несколько меньше 25 лет, за вычетом переселенцев он получается немногим более 25 лет. Мальтус был прав, положив, что переселение не имело почти никакого, можно сказать, ровно никакого влияния на возрастание числа жителей в Соединенных Штатах.

По всем этим счетам он действительно прав, только счета эти неправильны. Заметим сначала одно обстоятельство. Переселенцы все были люди европейского происхождения, белой кожи; а население Соединенных Штатов состоит, как известно, из белых и из черных. Как размножались негры, в какой пропорции действовало тут естественное возрастание и привоз новых невольников из Африки, совершенно невозможно разобрать, потому что с начала нынешнего века центральное правительство Соединенных Штатов запретило ввоз негров из Африки, а он и до сих пор продолжается в значительном числе контрабандным образом. Может быть в эти 60 лет привезено всего каких-нибудь полмиллиона негров, а может быть и два миллиона — узнать этого никак нельзя. Известно только, что ни один из этих невольников не вошел в счет прибыли от прибыли жителей, от приезда людей из чужих стран. При совершенной неизвестности того, какая пропорция нынешних негров принадлежит людям, привезенным из Африки после 1790 года, и их потомкам, нет решительно никакой возможности сказать, по какой прогрессии размножались северо-американские негры, удваивалось ли их число от естественного размножения в 25, или в 30, или в 40 лет, или в период еще более продолжительный. Итак, остается говорить только о белом населении Соединенных Штатов. Попробуем рассмотреть его возрастание.

По цензу 1790 года белого населения считалось 3 172 464 человека. По цензу 1850 года — 19 630 738 человек. Если тот вычет переселенцев, который мы прежде делали из общей цифры белого и черного населения, сделать, как и следует, из одной цифры белого населения, к которой одной и относятся эти переселенцы, то пропорция возрастания понизится чувствительнее, чем понижалась по нашему прежнему неправильному приему. Но дело в том, что из цифры белого населения в 1850 году надобно вычитать не эту цифру, а гораздо более значительную. Ведь переселенцы, поселившись в Соединенных Штатах, также размножались, и если мы хотим узнать, какое число белых 1850 года надобно считать потомством белых 1790 года, то из белого населения 1850 года надобно вычесть не одних только переселенцев, а также и их потомков. Какую же цифру составляли в 1850 году переселенцы и их потомки? Комиссия, производившая ценз 1850 года, пыталась определить это число, и по правилам, ею принятым для вычисления, ока-

зывается, что из числа белых в 1850 году надобно считать переселенцами и потомками их 4 304 416 человек.

Это еще не все. С 1840 года Соединенные Штаты приобрели огромные области — Луизиану, Флориду, Техас, Новую Мексику, Калифорнию, Орегон; в этих землях было уже некоторое количество белого населения; эти новоприобретенные граждане со своими потомками в 1850 году составляли, — разумеется, неизвестно сколько, но во всяком случае не меньше пятисот тысяч человек, а может быть и больше — и, вероятно, больше.

Таким образом из белых 1850 года (19 630 738 человек) надобно вычесть 500 000 граждан с их потомками из новоприобретенных областей и 4 304 416 человек европейских переселенцев с их потомками, — всего 4 804 416 человек; остается 14 826 322 человека белых, которых можно считать потомками белых 1790 года (3 172 464 человека). Это составляет в 60 лет возрастание в 467%; годовичное приращение оказывается 2,6%; по этому проценту население удваивается в 27 лет.

Но думаете ли вы, что можно остановиться хотя на этой цифре? Вовсе нет. Нас ожидает еще множество обстоятельств, из которых каждое убеждает, что период удвоения имеет больше 27 лет. Сама комиссия, составлявшая отчет о седьмом цензе, чувствует это и потому процент естественного размножения принимает только в 2,5; по этому проценту период удвоения будет 29 лет. На самом деле он должен быть продолжительнее.

Начнем с того, что мы принимали, будто бы цифра переселенцев известна за все 60 лет, а между тем она известна только за последние 30 лет, а за первые 30 лет совершенно неизвестна. Счет переселенцев, прибывающих в гавани Соединенных Штатов, ведется только с 1820 года; сколько прибыло их до той поры, этого никто тогда не записывал (*The seventh census*, стр. 131). Комиссия предполагает, что этих переселенцев в 1820 году надобно считать 359 010 человек; но их надобно считать гораздо больше. Сколько в точности было их, разумеется, нельзя сказать. Но Чикринг, автор специального исследования об эмиграции в Соединенные Штаты, приходит к тому выводу, что в 1820 году этих переселенцев и их потомков было 1 430 906 человек. Если так, то период удвоения будет больше 30 лет.

Он и в самом деле больше. Мы видим, что вычисления, из которых выводится период менее 30 лет, лишены всякого точного основания по неизвестности числа переселенцев с 1790 до 1820 года. Но есть возможность определить прибыль населения, если не от всех переселенцев, то по крайней мере от одной части их, — от переселенцев немецкого племени. Англичане и ирландцы, поселившись в Соединенных Штатах, очень скоро обращаются в совершенных американцев. Немцы не могут скоро овладеть чужим языком до того, чтобы нельзя было распознать их, как американцев. Мы знаем, какую часть во всей эмигра-

ции составляла в 1850 году немецкая эмиграция, — почти ровно четвертую часть. Всех белых, родившихся не в Америке, а в других странах, было 2 210 828 человек; из них родившихся в Германии было 573 225 человек, то есть 25,09%, — положим, ровно 25%, ровно четвертая часть. Вот теперь, если бы нам узнать общее число всех немцев и потомков немцев в Америке в 1850 году, то мы могли бы узнать, сколько тогда было в Америке всех переселенцев с их потомками: стоило бы только помножить цифру немецкого племени в Америке на 4, и мы получили бы цифру всех переселенцев с их потомками. Сколько же в 1850 году было в Америке людей немецкого племени? Показания об этом различны, но самая меньшая цифра 2 миллиона человек. По другим вычислениям оказывается гораздо больше; но мы возьмем эту наименьшую цифру. Если четвертая часть европейской эмиграции с своим потомством составляла в 1850 году 2 миллиона человек, то, очевидно, что вся эмиграция со своим потомством составляла 8 миллионов человек. Не забудем еще 500 тысяч белых в новоприобретенных странах. Таким образом мы должны вычесть по крайней мере 8500 тысяч из 19 630 738 человек белого населения 1850 года; за этим вычетом остается 11 130 738 человек белых, которые одни только могут считаться потомками белых 1790 года. Если же 3 172 464 человека размножились в 60 лет до цифры 11 130 738, это составляет всего только 351%, и прогрессия ежегодного возрастания получается только 2,1040%. По этому проценту период возрастания будет слишком 33 года (33,1333).

Имеем ли мы право принять хотя этот период удвоения? Нет, — у нас нет никаких оснований считать число 2 миллиона людей немецкого племени в 1850 году более достоверным, чем другие показания более высокие, то есть составляющие еще меньший процент для размножения первоначальных белых 1790 года. Угодно ли знать, до чего доходят эти показания? Вот, например, серьезнейший капитальнейший труд — «Физический атлас Берггауза»<sup>16</sup>. На цифры знаменитого автора мы скорее можем положиться, нежели на чьи бы то ни было. По счету Берггауза (этнографический отдел, карта 3) выходит, что в 1845 году находилось в Соединенных Штатах 5 324 тыс. человек. Если столько их было в 1845 году, то в 1850 было еще больше: в пять лет они размножились и прибывали к ним новые переселенцы из Германии. Но положим в 1850 году только ту цифру, как в 1845. Что выходит у нас? Одна четвертая часть эмиграции дала 5 324 тыс. человек белому населению Североамериканских Штатов 1850 года, значит вся эмиграция дала ему в этом году 21 296 000 человек; а все белое население простиралось в этом году только до 19 630 738 человек. Таким образом одни эмигранты со своими потомками составляли население на 1 665 262 человека больше, чем все белое население

Союза. Мы имеем право утверждать после этого, что все нынешнее население Североамериканских Штатов составилось из одних только эмигрантов, поселившихся там после 1790 года, а куда девались прежние жители со своим потомством, этого мы не знаем; вероятно они все вымерли или переселились куда-нибудь. Итак, надобно заняться исследованием, куда же девались эти первоначальные жители, которым не остается места в Соединенных Штатах по нашему вычислению.

Вот мы имеем два предела: по одному счету белые 1790 года размножались с быстротой, удвоившей число их в каждые 25 лет, и эмиграция не имела никакого заметного влияния на увеличение населения Соединенных Штатов; по другому счету все нынешнее белое население составилось из эмигрантов и их потомства, а первоначальное население, вместо того чтобы размножаться, совершенно вымерло; между двумя крайними рядами цифр, ведущими к таким результатам, находится множество средних цифр; какой ряд цифр мы захотим принять, к такому результату и придем, а все цифры одинаково достоверны. Хотите вы, — положите период удвоения в 25 лет, хотите — положите его в 30 лет, а не то в 40 лет, а не то в 60, — на вывод всякого периода готовы для вас достоверные цифры.

То есть достоверны ли? Теперь читатель может сам судить о их достоверности. До 1820 года число переселенцев остается совершенно неизвестным. С 1820 года считаются переселенцы, прибывающие в гавани Соединенных Штатов. Верен ли, полон ли счет их, это неизвестно, и каждый рассудительный человек понимает, что в подобных счетах неизбежны пропуски. А кроме того было переселение в Соединенные Штаты из Канады; известно даже, что оно совершается в размере довольно значительном. Вероятно, и со стороны Мексики Соединенные Штаты не отторжены Китайской стеной; вероятно, было переселение и с юга, а не только с севера. Разумеется, оно было, это известно; но все это никем не считано. Спрашивается теперь, сколько же людей прибыло в Соединенные Штаты с 1790 до 1850 года? — это неизвестно. Комиссия, составлявшая седьмой перепись, успела насчитать 2 722 198 человек; хорошо, стало быть меньше этого не могло быть всех, когда уже насчитано столько. А сколько было всех? Может быть 3 миллиона, может быть и 4, может и больше — кто их знает.

Еще одно обстоятельство, о котором мы не упоминали до сих пор. Размножение зависит главнейшим образом от числа женщин, способных по своему возрасту быть матерями. В числе переселенцев пропорция женщин от 15 до 40 лет гораздо значительнее, чем в оседлом населении, — разумеется, люди в цвете лет более готовы к переселению, чем старики и дети. А оседлым населением Соединенных Штатов на 10 000 человек считалось в 1850 году 1 989 женщин от 15 до 40 лет; между 10 000 переселен-

цев число женщин этих лет было 2 782. Из этого мы видим, что каждая тысяча переселенцев по своей способности к размножению равняется 1 400 человекам оседлого населения.

Или нет: она равняется не этому числу, а гораздо большему. Женщина в 40 лет не будет иметь столько детей, как женщина в 15 или 20 лет. Пропорция молодых женщин в общем числе от 15 до 40 лет между переселенцами значительнее, нежели между оседлым населением. Если положить, например, что из тысячи женщин от 15 до 40 лет в оседлом населении женщины от 15 до 30 лет составляют половину, то между переселяющимися женщинами они составляют гораздо больше половины. Но сколько именно они составляют, мы опять-таки не знаем. Нам известно только, что 1 000 переселенцев по своей способности к размножению равняются больше нежели 1 400 человекам оседлого населения; но скольким именно — 1 500 или 1 750, или 2 000, или больше, — это неизвестно.

Вы думаете, что эта история кончена. Вовсе нет. Кроме того перевеса над оседлым населением, какой имеют переселенцы по пропорции молодых женщин, они имеют другой перевес по малочисленности пожилых людей. Переселенцы старше 45 лет составляют ничтожную пропорцию в общем числе. Выгода эта огромна, но во сколько именно процентов следует оценить ее, опять все-таки неизвестно.

Если б не было слишком длинно, можно было бы указать еще десятки обстоятельств, важных для оценки размножения переселенцев и тоже остающихся недоступными численному распределению.

Конец концов тот, что мы не знаем, сколько всех переселенцев приехало в Соединенные Штаты между первым и седьмым цензами, и не знаем, какая часть белого населения 1850 года составила из их и их потомков; потому не знаем, какая часть его остается за первоначальными белыми 1790 года и их потомством; потому не имеем возможности определить процент размножения и период удвоения людей от естественного приращения в Соединенных Штатах. Достоверно только, что число переселенцев было больше, и потомство их многочисленнее, чем принимается в вычислениях, дающих период удвоения в 30 лет.

### **О естественном размножении людей**

Мы видели, что возрастание населения в Соединенных Штатах, представляемое со времени Мальтуса нормою для определения быстроты, с какой могут размножаться люди, не дает никакой точной цифры, или дает какую хотите произвольную цифру для процента размножения и периода удвоения по неизвестности величин, от которых зависит уравнение. Точно так же напрасно стали бы мы искать этой нормы в возрастании насе-

ления какой-нибудь другой страны; везде нам помешала бы неудовлетворительность сведений о числе и размножении переселенцев, прибывающих к первоначальным жителям. Те страны, куда не прибывает значительное число переселенцев, не годятся для соображения, потому что возрастание числа людей сильно задерживается в них дурным положением массы. Поэтому нормы для прогрессии размножения надобно искать каким-нибудь иным путем.

Очень может быть, что люди, владеющие средствами высшего математического анализа, сумели бы найти для определения этой нормы способ точнее того, какой один доступен для нас, проникших математику разве немногим дальше Мальтуса и его последователей; то есть все-таки очень недалеко, не дальше уравнений первой степени и знакомства с употреблением логарифмов, — вещей, которым учат в третьем или четвертом классе гимназий. Мы чувствуем также, что способ, к которому мы прибегаем, оставляет на волю каждого выбор цифр в границах более широких, чем нужно для удовлетворительной точности. Но все-таки он по крайней мере приводит каждого к возможности обсудить, что правдоподобно и что неправдоподобно, между тем как приемы Мальтуса или оставляют человека в грубом заблуждении, или не приводят ни к чему определенному.

Размножение населения производится перевесом числа рождающихся над числом умирающих. Например, если в данном обществе ежегодно родится 35 человек на 1 000 человек населения, а умирает 20 человек, то процент годичного приращения будет 15 на 1 000, или 1,5%. Если бы существовало где-нибудь, когда-нибудь общество, о котором следовало бы думать, что при наибольшем возможном числе рождений существует в нем наименьшая возможная смертность, это общество представляло бы нам норму наибольшего возможного размножения людей. Но каждому известно, что не найдется ныне и по истории неизвестно такого общества, в котором соединялись бы оба эти условия. Потому вместо готовых фактов мы должны основываться только на соображениях.

Рассудим, во-первых, каково может быть наибольшее число рождений, допускаемое физиологическим устройством.

Обыкновенно говорят об этом с забавным легкомыслием. Нам беспрестанно попадают уверения, что надобно считать возможной пропорцию десяти рождений на 100 человек населения. Это чистый бред {вроде слов Легуа, что период удвоения в Соединенных Штатах восемь лет, когда у него тут же приведены цифры говорит\*: число женщин в возрасте, способном к рождению — *перечеркнуто*}, период плодородия у женщин в умеренном климате простирается приблизительно от 15 до 45

---

\* Повидимому, нужно: приведенные цифры говорят. — Ред.

(в жарких климатах он короче). Число женщин этого возраста будет составлять пропорцию тем меньшую в общем числе населения, чем быстрее размножается общество и чем продолжительнее в нем средняя жизнь. {Мы хотим отыскивать наибольшую возможную величину размножения, потому предположим наивыгоднейшую цифру обоих условий, какую допускает рассудок — *зачеркнуто*}. Если например, средняя продолжительность жизни была бы 75 лет, то число людей, имеющих более 45 лет, по крайней мере равнялось бы числу людей от 15 до 40 лет, а по всей вероятности, далеко превышало бы его. Если бы число людей удваивалось естественным размножением в 25-летний период, то число детей до 15-летнего возраста по крайней мере равнялось бы всему числу остального населения. Женщины составляют около половины населения; число женщин от 15 до 45 лет составляло бы в этом обществе, как мы видим, едва ли одну четвертую часть женского населения и на тысячу человек населения едва ли приходилось бы в таком обществе 125 женщин от 15 до 45 лет, {В действительно существующих обществах эта пропорция больше, — она доходит до 20 на 100, но это лишь от того, что средняя жизнь тут ниже принимаемой нами наибольшей цифры, и пропорция детей, умирающих во младенчестве, слишком велика; а мы должны помнить — *перечеркнуто*} потому что соразмерно этим условиям возрастает пропорция детей и пропорция пожилых людей в составе населения. Но возьмем нынешнюю цифру: женщины от 15 до 45 лет составляют, вообще говоря, одну пятую часть всего населения в европейских и американских обществах. В течение этих 30 лет физиологическая способность становиться матерью сначала возрастает, около 20 лет достигает наибольшей величины и через несколько лет начинает ослабевать; так что в последние десять лет (от 35 до 45 лет) большинство женщин уже бывает утратившим способность рождать. Но мы не будем считать этого. Положим, что до 45 лет женщина сохраняет точно такую же способность становиться матерью, какую имела в 20 и 25. Период беременности продолжается, как известно, девять месяцев, период кормления грудью около года, если мать не принуждена бедностью прекратить его раньше. Итак, надобно считать, что каждый младенец требует около двух лет. В самом деле из женщин, которые сами кормят своих детей, редки случаи, чтобы одно дитя рождалось после другого менее как через полтора года; обыкновенно промежуток бывает зачительнее; среднюю величину его нельзя принять менее двух лет. При каком же условии рождалось бы по 10 детей на 100 человек населения? Только в том случае, если бы каждая женщина, от 15 до 45 лет постоянно все время, как только кончит кормление одного ребенка, немедленно зачинала бы другого. Пятнадцатилетняя девочка думает развиться, как ребе-

нок, — нет, ей уже нужно становиться матерью; сорокалетняя женщина истощена родами и кормлением 12 человек детей, — нужды нет, она должна родить еще троих детей: каждая женщина непременно должна родить и выкормить 15 человек детей, без этого не будет у общества 10 рождений на 100 человек населения. Ни болезнь, ни слабость комплекции, ни прямая физическая неспособность иметь детей, — ничто не может служить препятствием; ни одного дня ни у одной женщины не должно проходить с 15 лет до 45 праздным между беременностью и кормлением младенца, иначе не будет 10 рождений на 100 человек. Пусть же читатель рассудит, возможна ли эта вещь. А между тем эту ахинею (слово вздор было бы слишком слабо) можете читать во множестве трактатов, имеющих серьезнейшую наружность. В пример сошлемся хоть на книгу Ваппеуса<sup>17</sup>, самый новейший и подробнейший трактат о движении населения, о пропорции рождений, смертей и т. д.

Но даже и при этом условии, что каждая женщина родит 15 человек детей, что ни у одной женщины между 15 и 45 годами не бывает ни одного праздного дня между беременностью и кормлением, — даже и при этом условии десять рождений на 100 человек населения насчитывалось бы только в населении, размножающемся очень медленно. Как только население начнет размножаться быстро, пропорция детей и пожилых людей станет возрастать на счет взрослой молодежи и людей средних лет, и число женщин между 15 и 40 годами станет меньше 20 на 100. В Североамериканских Штатах, например, оно ниже этой пропорции, несмотря на прилив эмигрантов, между которыми пропорция женщин 15—45 лет гораздо выше: даже этот сильный прилив избытка молодых женщин не может довести общее число их до 20 на 100, так велик недочет молодых женщин в оседлом населении. Потому в быстро размножающемся обществе недостаточно было бы каждой женщине родить и по 15 человек детей, чтобы вышла пропорция 10 рождений на 100 человек населения, — для этого понадобилось бы каждой женщине рожать по 20 или по 25 детей, безостановочно занимаясь этим делом лет до 60.

Бросим же эти пустые вымыслы и попробуем рассудить, какое в самом деле возможно наибольшее число рождений. Если считать по 8 человек детей на каждую женщину, это будет все еще слишком много. Для этого требовалось бы, чтобы каждая женщина с 19 до 35 лет постоянно находилась в положении беременности и кормления грудью. А при этой цифре будет уже только 53 рождения на 1000 человек в населении не размножающемся и еще меньшее число рождений на 1000 человек в населении размножающемся. Рассудок видит из этих цифр, что 5 рождений на 100 человек населения — пропорция, едва ли допускаемая физическим устройством человека. Надобно думать, что она должна быть ниже.



В самом деле она ниже 5 рождений на 100 человек, об этом свидетельствуют статистические данные. Но прежде чем займемся ею, мы должны сделать несколько замечаний для разъяснения себе, что же именно мы ищем?

Мы ищем того, какое наибольшее число рождений можно предположить в обществе, которое пользуется совершенным благосостоянием и в котором опасение за недостаток средств к воспитанию детей, к хорошему содержанию семейства, не удерживает ни одну женщину, ни одного мужчину иметь детей. Но читатель видел из предыдущих глав Милля, что достижение такого благосостояния невозможно между прочим без порядочной цивилизации и без хороших обычаев. Общество, в котором масса невежественна, груба, расположена к насилию, не может пользоваться благосостоянием; величайшее насилие, какое может быть сделано человеку, состоит в его принуждении к тем актам, которые имеют своим результатом рождение детей. Посмотрим же, какое влияние оказывается в этих вещах обычаями и отношениями некоторых обществ — *перечеркнуто*).

Каждому из нас известно, что наш поселянин спешит женить сына, чтобы иметь в хозяйстве даровую работницу. Результат этого — отдача девушек замуж гораздо раньше, чем захотели бы они подвергаться скучному положению беременности и кормления. Бывают случаи, что девушка слишком долго или навек засиживается незамужней. Но в массе нашего народа эти случаи редкое исключение, действие которого далеко перевешивается влиянием обыкновенного противоположного порядка женской жизни в нашем простонародьи. Если бы женщины не были принуждаемы делаться из резвых детей матерями, эпоха рождения первого ребенка значительно отдалась бы у большей части наших простолюдинов. Состояние беременности так скучно и тяжело для всех женщин, а роды так тяжелы для очень многих, что рождение первого ребенка опять на долгое время отнимало бы у очень многих женщин охоту становиться матерями во второй раз, если бы это зависело собственно от них. Потому безошибочно должно сказать, что просто грубость наших нравов и привычка каждого мужчины, отца или брата, потом мужа, распоряжаться женщиной, как ему кажется лучше, имеет своим результатом рождение гораздо большего числа детей, чем стало бы рождаться, если бы обращалось в этом случае больше внимания на чувства женщины. Мы знаем, что теперь во Франции, Англии, многих других обществах произвол мужчины над женщиною и хозяйственный расчет имеют противоположное действие. Расчет удерживает мужчину от женитьбы, и женщины принуждены вести жизнь, оставляющую бездетными многих, которые имели бы детей, если бы жили свободно собственным чувствам. В таких обществах статистика замечает уменьшение числа рождений. Но это явление недавнее;

оно производится только развитием фабричной жизни. 60 и 70 лет тому назад обычаи английской и французской наций были в этом отношении подобны обычаям русского простонародья. Обычаи, сходные с нашими, господствуют до сих пор в большей части Германии, в целой Австрии, в Италии. При этом положении дел, бывшем повсюду в Европе еще в конце прошлого века и остающемся до сих пор в большей половине Европы, число действительных рождений надобно считать не только равняющимся полному числу рождений, какое было бы в совершенно благосостоятельном обществе, но даже превышающем его. У нас и во всей восточной половине остальной Европы число рождений таково, что превышает нормальную силу женщин и результаты естественного их расположения. Женщины тут постоянно жалуются на изнуренность от излишнего числа рождений, становятся матерями прежде, чем требует их природа, продолжают рождать, когда перестает того требовать их природа. Довольно взглянуть на них, чтобы убедиться в этом: они увядают преждевременно — это факт известный; он производится не одною тяжестью работы, потому что мужчины того же сословия в тех же местах увядают не так рано; сильное влияние тут имеет принужденность женщины становиться матерью большее число раз, чем требует ее организм. Зажиточный русский и восточно-немецкий поселянин в 50 лет еще молодец собою, а жена его в 30 лет уже почти старуха. Эта разница так велика, что нельзя объяснить ее только естественною меньшею долговременностью цветущего возраста у женщины. Сравнив двух женщин одного сословия и одних лет, каждый может понять, отчего одна из них старуха, а другая еще свежа, если спросит, по скольку детей было у той и другой.

Таким образом число действительных рождений в странах, подобных Австрии, Саксонии, восточным провинциям Пруссии, должно превышать норму, соответствующую силам и естественному расположению женщины. Посмотрим же, как велико это число.

Из множества данных, представляемых статистикою, нет ни одной достоверной цифры, которая превышала бы пропорцию 44 рождений на 1 000 человек населения (10 рождающихся на 227 жителей). Высшая из достоверных цифр французской статистики за те времена, когда французское общество было подобно нашему, — 40 рождений на 1 000 человек населения (конец прошлого века). В Пруссии, где до сих пор число рождений превышает естественную норму, мы находим от 40 до 38 рождений на 1 000 жителей. Высшая из всех сколько-нибудь достоверных цифр — число рождений в Тоскане в 1849 году, — 100 рождений на 2 282 жителей, или на 10 000 жителей 438 рождений. Но это исключительный случай.

Из этого мы вправе заключить, что в благосостоятельном обществе, где число рождений не уменьшалось бы хозяйствен-

ным расчетом (оно нимало не уменьшается им в восточной половине Западной Европы и еще не уменьшилось в конце прошлого века во Франции), число рождений было бы никак не более 44 на 1 000, а напротив, по всей вероятности, было бы значительно ниже этой цифры; даже цифра 40 рождений на 1 000 жителей превышает естественную силу женщин, достигается только насильственным тяготением чужих расчетов и требований над женщинами. Едва ли можно положить, чтобы без этого тяготения рождалось 35 младенцев на 1 000 человек населения.

Размножение населения производится перевесом числа рождающихся над числом умирающих. После соображений о наибольшем числе рождений, подобном с силами женского организма, займемся разысканием, какую наименьшую цифру смертей можно предположить рассудительным образом в обществе, которое пользовалось бы полным благосостоянием и не теряло бы ни одного своего члена от нужды.

Только в некоторых новых обществах нужда стала действовать уменьшением числа рождений. В России, восточных провинциях Пруссии и многих других странах Западной Европы она, напротив, искусственно поднимает его до неестественной высоты через расчет домохозяина иметь даровых работниц, а от них и даровых работников. В этих обществах и во французском обществе прошлого века мы находили пропорцию рождающихся выгоднейшую для размножения, чем естественная пропорция. Мы удивим некоторых экономистов, если скажем, что найдутся в статистических таблицах цифры смертности, точно так же более благоприятные для размножения, чем была бы наименьшая величина смертности в целой нации при наивыгоднейших условиях. Такими цифрами смертности не очень давно щеголяла английская статистика. Теперь они процветают в статистических таблицах Соединенных Штатов. Средняя цифра смертности для Соединенных Штатов по седьмому цензу оказывается 1 на 73 человека населения. Хотите знать, как произошла эта цифра? Очень просто. Ни в одном штате не ведутся полные списки умирающих. Чей гроб попался на глаза, того и запишут; а чья смерть не замечена, тот и в счет не идет. От этого некоторые штаты блистают необычайной долговечностью. В Вермонте, например, умирает только 1 человек из 100, а в Уисконсине 1 из 105<sup>18</sup>. Если по этой пропорции составить таблицы продолжительности жизни, то окажется, что в этих счастливых землях ни один рождающийся младенец не умирает, не достигнув по крайней мере лет 75, а большинство жителей доживает лет до 120. Что ж, оно должно быть так, — ведь повторяют же эту цифру писатели, повидимому очень серьезные, в книгах очень знаменитых. Но что Вермонт и Уисконсин, — вот, например, Миннесота далеко перещеголяла их: там умирает только один из 202 человек, — половина жителей непременно должны достигать там

300 лет и число 400-летних стариков должно быть очень велико. Но Орегон отличается еще лучше: там умирает один из 232 человек. Отправимся туда — наверное доживем до 500 лет.

Мы не говорим, что столь же недостоверны французские, бельгийские или прусские цифры, — в этих странах и во многих других умирающие вносятся в реестры довольно точным образом. Мы хотим только сказать, что нельзя же без всякой причины, полагаться на всякую цифру, как бы ни была она правдоподобна, и что, например, в Англии смертность по таблицам выходит менее действительной, а в Соединенных Штатах, как мы увидим\*, менее всякой действительно возможной цифры. Есть также цифры, хотя и вполне достоверные, но решительно не годящиеся для выводов о целом населении. Известно, например, что смертность между людьми зажиточными меньше, нежели между бедняками. Чтобы приблизительно определить разницу, составили таблицу смертности по отдельным частям Парижа. Оказалось следующее: во втором округе Парижа, где живут исключительно люди богатые, умирает 1 из 71; в первом округе, населенном также людьми очень зажиточными, 1 из 66. Так, но не следовало бы забывать двух обстоятельств. Сильнейшая смертность бывает между младенцами; у зажиточных парижан существует обычай не брать кормилицу к себе в дом, а посылать ребенка к ней в деревню. Таким образом ни в счет жителей, ни в счет умирающих первого и второго округов не попала значительная часть младенцев, родившихся тут. Потом, люди зажиточные имеют прислугу; огромное большинство прислуги люди одинокие и притом молодые. Малютки и старики этих семейств остались в деревне, а между молодыми людьми и людьми средних лет, которые одни перешли в первый и второй округи, смертность натурально очень мала. Этот исключительный состав населения, в котором пропорция младенцев и стариков гораздо меньше, чем в целом населении Франции или Парижа, много содействовал незначительности числа умирающих. Цифры первых двух округов Парижа никак не служат доказательством, что благосостояние может уменьшить в целом населении пропорцию умирающих до 1 на 66 или 71 и что, если в обществе существует смертность большая этой, то весь излишек умирающих принадлежит действительно нужды.

{Разумеется — *зачеркнуто*} есть сведения более достоверные о том, какая средняя продолжительность жизни обеспечивается благосостоянием. По исследованиям Каспера, средняя продолжительность жизни в зажиточном сословии 50 лет. Соображая дело, трудно предположить, чтобы какая бы то ни была свобода от материальных нужд, какая бы ни была благоприятность житейской обстановки могла дать цифру значительно большую

\* Нужно полагать: видели. — *Ред.*

этой. В самом деле, какая пропорция лет между умирающими нужна, чтобы средняя продолжительность жизни вышла 50 лет. Нужно, чтобы на каждого малютку, умирающего на первом или втором году, был один умерший 100 лет или двое умерших 75 лет. Если мы подумаем, как велика при самых благоприятных условиях непременно должна быть смертность между младенцами, то поймем какая огромная пропорция людей должна доживать до глубокой старости, чтобы средняя продолжительность жизни поднялась выше 50 лет. Чтобы яснее было дело, попробуем составить таблицу, по которой цифра доходила бы, например, до 60 лет. Возьмем население в 6 000 человек. Положим, что число умирающих в год будет 100. Положим, что число рождающихся 2 на 100. Итого всех младенцев будет 200 человек — *перечеркнуто*.

---

{... цифру, явно смеющуюся над нами и своей огромностью недоступною для вычислений, и своею нелепою претензиею на точность? Да, этот период удвоения в 1 266 лет, эта отсрочка первого недостатка в продовольствии на 3 798 лет должны иметь гораздо больше серьезного значения, чем те чрезмерно краткие периоды удвоения, которыми запутаны экономисты со времени Мальтуса. Мы основывались на цифрах достоверных, принимали в соображение обстоятельства, о которых велит помнить рассудок, а мальтусов период удвоения в 25 или менее лет родился просто из забвения о том, что в Североамериканские Штаты постоянно шел сильный прилив переселенцев и что эти переселенцы, имевшие в своем числе большую пропорцию молодых женщин, чем оседлое население, размножались с быстротою, к какой просто по физиологическому устройству не способно оседлое население. Наши вычисления имеют несравненно более точности, нежели те счеты с грубыми ошибками, которые перешли во все политико-экономические книги из мальтусова трактата. Сравнительное достоинство наших вычислений несомненно; но, говоря по правде, безотносительного достоинства не имеют и они почти никакого. Надобно, наконец, разъяснить тьму, в которую погружают нас эти цифры.

Дело очень просто. Земледельческие периоды имеют в наших климатах годичный срок, да и всякие статистические вычисления ведутся по годам. Потому и процент размножения людей считается по годам. Если найдем постоянный процент размножения, то размножение, как говорил и сам Мальтус, пойдет по геометрической прогрессии, знаменателем которой будет этот процент. Теперь попросим читателя вспомнить, что такое за вещь геометрическая прогрессия и какие громадные разницы в величине высоких ее членов происходят от самой ничтожной перемены в величине знаменателя. Дело это вот какого рода: велика ли разница между дробями 1,01 и 1,03, между дробями

1,03 и 1,05? Осязательной разницы тут нет. Но попробуем возвести в сотую степень эти дроби, мы получим:

$$\begin{array}{rcl} \text{Дробь } 1,01, \text{ возведенная в } 100\text{-ю степень} & = & 2,7 \\ \text{» } 1,03 \text{ » » » » } & = & 19,2 \\ \text{» } 1,05 \text{ » » » » } & = & 131,5 \end{array}$$

Мы видим, что ничтожная прибавка, менее чем на одну пятидесятую часть числа в первой степени, дает число в семь раз большее в сотой степени. Вот в этом-то и заключается вся важность.

Статистические данные о населении до сих пор не достигли такой точности, чтобы можно было ручаться за верность какой бы то ни было цифры до 1 или даже до 2%. В 1856 году Франция имела 36 039 362 человека населения; так оказалось по переписи. Можно ручаться, что действительно она имела в этом году менее 37 и более 35 миллионов; но нельзя поручиться, что число жителей не было тогда несколькими десятками, пожалуй даже и сотнями тысяч, больше или меньше числа, оказавшегося по переписи. В 1856 году умерло во Франции 835 017 человек, — да наверное гораздо меньше миллиона, гораздо больше 750 000, но может быть не 835 017 человек, а 850 000. То же самое надобно сказать о числе родившихся и о всяком другом статистическом данном, относящемся к движению населения. Все эти цифры имеют только приблизительную точность. Для практики она совершенно достаточна, достаточна и для соображений относительно близких годов; но если мы станем вычислять на 100, на 200 лет вперед, то нынешние неизбежные неточности в данных на 1 или на 2% отразятся громадными размерами в выводах. А вот это именно и бывает в рассуждениях о мальтусовом законе. Говорят, например: если население Франции стало бы размножаться со всею быстротою, к какой способно человеческое племя, то через 200 лет Франция имела бы столько-то сот миллионов населения. Подумаем, что тут делается. Тут возводятся в двухсотую степень числа, полученные из сочетания цифр, которые все заключают в себе неточность, может быть на 1%, может быть меньше, а может быть и больше — *перечеркнуто*).

Этой неточностью самых данных дело еще не кончается; их нужно сочетать между собою, и разница в результате от разницы употребляемых вами приемов не будет чувствительна для нескольких ближайших годов, но опять произведет громадную произвольность в выводах для отдаленного будущего.

Чтобы разъяснить фантастичность таких выводов на несколько столетий вперед, попробуем применить этот способ к какому угодно статистическому явлению — везде у нас выйдут цифры, перед которыми смущается рассудок. Возьмем в пример хотя {заграничную торговлю Англии. Около 1810 года оборот внешней торговли Англии простирался на 70 мил. ф. — 55 мил. ф. по официальной оценке — *зачеркнуто*} торговый флот Англии. В 1835 году вместимость всех морских судов под английским

флагом была 2 780 000 тонн; в 1857 году она была 5 530 000 тонн. Ясно, что период удвоения 22 года. По этой пропорции через 220 лет Англия должна бы иметь торговый флот слишком в 1 000 раз больше нынешнего, но такого флота не могут вместить все ее гавани. Ясно, какой вывод из этого: если бы английская торговля стала развиваться беспрепятственно, очень скоро не достало бы на Великобританских островах места для ведения этой торговли. Итак, единственное спасение для Англии представляют войны, коммерческие кризисы и другие несчастья, замедляющие развитие торговли.

Или возьмем другой пример: число писем. Чем просвещеннее народ и чем более развита в нем промышленная жизнь, тем больше бывает число писем. В 1839 году было в Англии переслано по почте 80 миллионов писем, а в 1858 году 532 миллиона. Ясно, что число писем возрастает в шесть с половиной раз в 19 лет. Через 190 лет вся Англия не вместит писем, которые должны будут пересылаться по ней. На каждого жителя Англии будет приходиться в день по несколько сот писем; ни у кого не достанет времени не только писать всех писем, какие должно будет ему отправлять к другим, но не достанет и времени прочесть всех писем, приходящих к нему. Некогда будет англичанам ни пахать землю, ни ткать коленкор, ни выплавлять железо; они все будут писать и читать письма. Спасти от этого подавления письмами они могут только тем, если задержится у них распространение образованности и промышленной деятельности. Только водворение безграмотности может избавить Англию от великих несчастий.

Почему нелепы такие рассуждения? Единственно потому, что нынешний ход дел мы ставим основанием для суждений о будущем, отдаленном от нас. Можно сказать наверное, что не найдется ни одного явления общественной жизни, характер и размер которого могли бы мы определять на 200, на 300 лет вперед. Вот собственно только от этого общего закона неопределимости далекого будущего и происходит ужасающая перспектива мальтусовой теоремы.

Оставим будущим векам заботу о том, как совладать людям с громадно-возрастающим числом писем, пересылаемых по почте, и где найти место для числа морских судов. Для нас довольно видеть, что в ближайшие к нам десятилетия еще не будет затруднений людям с этих сторон. Точно так же удовлетворимся тем, что по крайней мере 100 лет люди могли бы размножаться со всевозможной быстротой, не встречая никаких затруднений в получении продовольствия. Что будет в этом отношении через 300 или 400 лет, увидят наши потомки и, если понадобится тогда принять им к сердцу советы Мальтуса, они успеют это сделать, а к нашим временам не приложимы ни опасения Мальтуса, ни советы, из них вытекающие.

### III

#### Анализ мальтусовой теоремы

Рассудок говорит, что по крайней мере на 100 лет нет надобности бояться людям следствий мальтусова закона. Но фантазия любит стремиться как можно дальше, и, как бы далеко ни был какой-нибудь темный уголок, она, если настроена к тому, сумеет поместить в нем чудовище и станет пугать человека когтями этого чудовища. Таково настроение политико-экономической фантазии со времени Мальтуса. Хорошо, 100 лет люди могли бы размножаться, но что будет дальше? Вопрос совершенно праздный, но он представляется таким множеством \* таких серьезных людей, что нельзя оставить его в пренебрежении, которого он заслуживает по своей внутренней пустоте. Люди, называющие себя серьезными мыслителями, влекут вас этим вопросом в область вздорной фантазии и объявляют, что не хотят ничего слушать, если вы не разрешите их вопроса. Нечего делать, надобно заняться им, как ни смешно тратить время на мечты подобного рода. Попробуем же рассмотреть по мальтусовой теореме вопрос о средствах продовольствия не только для нашего или какого-нибудь определенного времени, но вообще для всех бесчисленных прошедших и будущих веков. Смешно нам толковать, откуда будет взять людям пищу через 1000 лет, но потолкуем об этом, — так велят Мальтус со своими учениками.

Мы видели, по какой гипотезе строится вторая строка мальтусовой теоремы — строка, определяющая закон возрастания земледельческого продукта. Члены этой прогрессии выводятся из членов прогрессии размножения людей, по предположению, что производительность труда прибавочного числа работников ослабевает в той самой пропорции, в какой возрастает число работников. На чем основано такое предположение, мы не станем разбирать. По здравому смыслу есть все шансы, что если два работника, возделывая известный участок, произвели продукт два, то продукт четырех работников будет больше, чем три, а продукт восьми работников больше, чем четыре. Но есть множество людей, принимающих предположения Мальтуса, и мы станем рассуждать так, как будто бы оно основательно. От этого мы получим по крайней мере ту выгоду, что раскроем возможность постоянного улучшения судьбы людей даже по гипотезе, кажущейся самую страшную; если ослабление производительности земледельческого труда идет по пропорции менее быстрой, чем какая принята у Мальтуса, то улучшение судьбы людей может идти еще быстрее.

Мы уже говорили о том, какой размер улучшений в земледельческих процессах нужен для уравнивания убыли в земледельческом продукте, происходящей от меньшей производитель-

\* Нужно полагать: множеству. — *Ред.*



ности труда прибылых работников, по мальтусовой теореме; но тогда мы брали только один частный случай, теперь рассмотрим задачу в общем ее виде.

Теория народонаселения, в том виде как изложена у Мальтуса и как принимается его последователями, представляет смесь истин, выраженных слишком неопределенным образом, с предположениями, неосновательность которых обнаружена нынешним развитием статистики и технологии, и с другими предположениями, которых до сих пор не можем мы ни подтвердить, ни опровергнуть по недостаточности физиологических данных.

Человеческое племя, говорит Мальтус, имеет врожденную способность размножаться по геометрической прогрессии. Ученые, пугавшиеся убийственных выводов мальтусовой теории, напрасно старались отрицать это положение, напрасно считаемое главным основанием, из которого уже непременно будут следовать ужасные результаты. Это положение неопровержимо само по себе, и спорить против него значит не понимать дела или обольщать себя; но сущность теории Мальтуса не в нем, и выражено оно в ней неудовлетворительным образом.

Если население удвоилось или учетверилось, способность каждой женщины в нем рожать детей не изменилась от увеличения числа людей, — это очевидно само собою, и мы не понимаем, как можно было спорить против вещи столь очевидной. Но каково будет действительное число рождений, это зависит не от одной физиологической способности, а также от множества разных обстоятельств. Из этих обстоятельств Мальтус и его последователи принимают во внимание только два разряда: во-первых, внешнюю легкость или трудность вступать в семейную жизнь и, во-вторых, расчетливость мужчины, видящего обременение для себя в детях. Действительно, только эти две причины и действовали до сих пор заметным образом в тех обществах, где число рождений уменьшалось. Если, например, теперь во Франции рождается только 27 или 28 младенцев на 1000 человек населения, а прежде, в конце прошлого века, рождалось около 40, это уменьшение, действительно, произошло почти только от двух причин, указываемых Мальтусом. Для значительной части населения, именно для городских работников, порция которых постоянно возрастает, вступать в брак теперь стало труднее, чем было лет 80 тому назад. Трудность эта с каждым годом возрастает, как увеличивается и класс людей, находящихся в ней. Люди высших сословий удерживаются от вступления в брак эгоистическими или тщеславными расчетами о том, что, оставаясь холостяками, имеют более средств к блеску или комфорту, чем имели бы женившись. Этот последний разряд людей мальтусова теория называет людьми воздержными, хвалит их образ действий, как добродетель, и ожидает общественного блага от того, что большинство общества примет та-

кие нравы. Едва ли нужно говорить, что тут последователи Мальтуса или находятся в ослеплении, или лицемерят. Что такое понимают они под своим «нравственным воздержанием»? Если то, что люди, воздерживающиеся от брака, будут жить аскетами, это явная нелепость: нравственное воздержание в этом смысле доступно лишь самому незначительному числу людей, воздержание которых не произведет никакой заметной разницы в числе рождающихся. Если же под благозвучным именем нравственного воздержания надобно разумеать такие отношения к женщинам, в каких находятся почти все мужчины до вступления в брак, то термин, употребляемый теориею, совершенно лжив: тут нет ни нравственности, ни воздержания; следовало бы выражаться правдивее и прямо говорить, что для общественного благосостояния нужно широкое развитие конкубината, а еще полезнее трата сил на грязные удовольствия. Но и это не уменьшит числа рождающихся. Как бы поздно ни женился мужчина, но большинство женщин все-таки будет отдаваемо замуж в молодых летах; старый холостяк ищет в невесте молодости. А число рождений зависит от того, с каких лет становится матерью женщина. Или надобно под именем нравственного воздержания понимать нечто <другое> еще, чем трату сил мужчины на дурные наслаждения, или надобно видеть в этой фразе тот смысл, что для ограждения общества от излишества рождений нужно большинству женщин перейти в класс, презираемый всеми. Не говоря о том, гуманна ли такая мысль, скажем только, что ее осуществление невозможно. Если «нравственное воздержание» мужчин содержит несчастных женщин, презираемых обществом, то ни в каком обществе эти женщины никогда не составляли и не будут составлять значительного процента в населении: для Лондона с его 3 000 000 населения нет надобности иметь этих женщин больше как несколько десятков тысяч; если б нашлась у стольких же других женщин охота увеличить собою эту жалкую толпу, они не нашли бы средств к существованию в этой профессии, и нужда заставила бы их перестать торговать собою; покупщики достаточно удовлетворены и нынешним числом. Но предполагать не только в женщинах, а хотя бы и в мужчинах склонность к недостойному образу жизни, какой ведут до женитьбы почти все мужчины и ведут некоторые женщины, значит не знать человеческого сердца. Из 1 000 мужчин разве 1 остался бы не женат до 30 лет, если бы внешняя необходимость не удерживала его от семейной жизни. Развратники всегда составляли и будут составлять самую ничтожную долю в целом населении; потому если даже понимать под нравственным воздержанием добровольное предпочтение недостойных отношений правильным отношениям, этот ресурс, рекомендуемый теориею Мальтуса, никогда не будет по характеру громадного большинства людей. Порок сам по себе был бы бессилён,

если бы не был приводим к нему человек внешней нуждой. В смысле аскетизма или в смысле порока принимать «нравственное воздержание» мальтусианцев, — оно все-таки элемент маловажный или служащий только выражением внешней нужды, к которой к одной и сводятся все мысли мальтусианцев об уменьшении числа рождений.

Но если до сих пор только нужда могла значительно уменьшать число рождений, то из этого еще никак не следует, чтобы со временем не явились в обществе обычаи, действующие в том же смысле и не имеющие ничего общего ни с нуждой, ни с так называемым нравственным воздержанием или каким бы то ни было стеснением природных влечений человека. Мы видим, что с развитием цивилизации отношение женщин к мужчинам изменяется. Мы не хотим рассматривать здесь, когда и до какого предела дойдут эти перемены, но каждому видно, по какому направлению идут они. Женщина постепенно приобретает права, в которых отказывалось ей прежде. Ее история — точно так же история постепенного освобождения, как история рабочих сословий. Милль справедливо говорит, что все понятия и обычаи наши составлены исключительно одной половиной человеческого рода — мужчинами. Когда женщина приобретет такое участие в просвещении и в гражданских правах, чтобы наши идеи и нравы стали сообразоваться с ее потребностями, они подвергнутся очень сильному изменению. Тогда, конечно, найдутся средства для женщины не подвергаться скучному и мучительному состоянию беременности чаще, нежели хочет она. Понятия об этом вопросе, касающемся не мужчины, а женщины, конечно, не могли сложиться правильным образом до сих пор, когда мнения о дурном и хорошем, дозволительном и недозволительном составлялись исключительно половиною человеческого рода, чуждою всех неудобств этого состояния.

Но от нас еще далеко время, когда действительно понадобится уменьшение числа рождений в пропорции более значительной, чем то уменьшение, какое произвелось бы и при нынешних мнениях о состоянии беременности одним только смягчением нравов. Вправе ли женщина сама решать вопрос, становиться или не становиться ей матерью, разбирать этого теперь нет еще надобности с экономической стороны, если и существовала всегда надобность с медицинской и моральной стороны. Но даже если и оставаться при нынешних понятиях в этом деле, то все-таки пропорция рождающихся должна уменьшаться, по мере того как будет уменьшаться разница между отношениями родителей к замужеству дочери или к женитьбе сына. Было время, когда сыновей женили так, как выдают теперь дочерей, находя достаточным только пассивное их согласие. Теперь постепенно входит в обычай, что молодому человеку не предлагают невесту его родители, а ждут пока он сам за-

хочет найти ее. Когда уменьшится хлопотливость поскорее пристроить дочь замуж, пора замужества отсрочится до возраста более зрелого, чем теперь. Этого одного будет довольно, чтобы пропорция рождающихся сильно уменьшилась.

Односторонность мальтусианцев состоит в том, что они принимают зависимость числа рождений только от одной нужды под прямым ее именем или под именем нравственного воздержания, а не замечают важного факта, что она зависит также от степени участия женщины в составлении нравственных понятий. Не принимая этого элемента, действие которого едва только начинается в теории и еще нисколько не обнаружилось в практике, они полагают, что если бы не стеснялись естественные влечения людей, то постоянно совершалось бы наибольшее возможное число рождений. На самом деле оно без всякого влияния нужды, без всякого стеснения природных потребностей, будет уменьшаться по мере расширения прав женщины и ее участия в умственной жизни человечества. Потому нынешний период удвоения числа людей будет становиться длиннее и длиннее по мере успеха цивилизации.

Из этого мы видим, что Мальтус построил ошибочную дилемму, когда сказал, что размножение числа людей может задерживаться или только уменьшением числа рождений от нужды, или только увеличением смертности также от нужды. Оно может быть произведено также смягчением нравов и распространением здравых понятий о власти женщины над собственной судьбой. Точно так же ошибочно полагал он, что надобность в замедлении размножения людей существовала в его время, и полагают его последователи, что она существует в наше время. Она действительно может наступить лишь при такой степени населенности земного шара, какая и при всевозможной быстроте размножения явилась бы лишь через несколько веков. Если чувствуется недостаток продовольствия

*(На этом рукопись обрывается)*

---

<спо> собностью людей к размножению, проистекло из грубой ошибки. {Находится в его соображениях и другой недосмотр, столь же грубый — *зачеркнуто*}.

{Мы раскрыли одну из ошибок, бывших причинами того, что Мальтус и его последователи сообразили, будто бы земледельческому продукту трудно возрастать с быстротою, по какой могут размножаться люди — *зачеркнуто*.} Мальтус не понял, что в геометрических прогрессиях счет выходит очень различен, смотря по тому, длинные или короткие сроки нарастания процентов берутся в основание счета. Продукт возрастает по

годам, а Мальтус считал проценты его возрастания по 25-летним периодам и от этой ошибки получил в результате ужасающие выводы вместо легких требований, представляемых правильным счетом; находится в его соображениях и другой недостаток, столь же грубый.

Вспомним, о чем собственно идет дело. Оно идет о производительности труда земледельцев. Она падает от размножения работников, а должна поддерживаться усовершенствованиями всякого рода и ближайшим образом усовершенствованиями в самом земледелии.

Сообразим же, в чем состоят главнейшим образом усовершенствования какого бы то ни было производства, например, хотя прядельного. Самая несовершенная форма его — пряжение ручным веретеном. Самопрялка есть уже усовершенствование. Но приготовление самопрялки требует гораздо большего количества труда, чем выделка веретена. Женщина, прядущая веретеном, нуждается лишь в самом ничтожном количестве основного капитала, представляемого тут лишь ничтожным веретеном. Самопрялка представляет основной капитал, уже гораздо более значительный. Устройством прядельных машин еще более усовершенствуется производство, и основной капитал в нем приобретает громадный размер. Постройка и ремонт фабричного здания, постройка и содержание прядельных машин, помещающихся в нем, требуют количества труда, гораздо более значительного, чем какое нужно для самого пряжения этими машинами в этом фабричном здании. Приготовительный труд возрастает пропорционально совершенствованию производства; иначе сказать, совершенствование производства соразмерно возрастанию подготовительного труда.

Ни у Мальтуса, ни у его последователей мы не найдем, чтобы к теории земледельческого производства было приложено это важное различие между подготовительным и прямым трудом или между основным и оборотным капиталом. Когда они говорят о земледельческом труде, они исключительно разумеют прямой труд или собственно ежегодную обработку земли и ежегодно повторяющиеся работы над каждою жатвою. За этим трудом, ежегодно требующим повторения, они вовсе забывают о качествах подготовительного труда и под выводы, прилагающиеся к прямому ежегодному труду, подводят также качества подготовительного труда. Но результаты того и другого в производстве совершенно различны.

Прямой труд имеет своим результатом продукт, получаемый одною операциею производства; в земледелии — одну жатву.

Приготовительный труд имеет своим результатом основной капитал, дающий навсегда или, по крайней мере, очень надолго увеличение продукта в каждой из повторяющихся операций, совершаемых прямым трудом.

Посмотрим, какого рода бывает в земледелии основной капитал, результат приготавительного труда. Прежде всего мы видим рабочий скот и сельскохозяйственные орудия. Во всех цивилизованных странах давно уже земледелие стало на такую степень, что приобретение рабочего скота и орудий — очень важное дело. Далее мы видим скот, содержимый для удобрения земли. Где земледелие усовершенствовалось до плодопеременной системы, там этот скот представляет собою массу капитала, более значительную, чем весь оборотный капитал земледельца: но сам Милль говорит, что ежегодное удобрение земли — не последнее и не самое обширное дело на этом пути усовершенствований. Самый состав почвы, геологический характер ее, изменяется примесью песка в слишком глинистую почву, примесью глины в слишком песчаную почву: труды подобного рода еще гораздо обширнее, чем труд, употребляемый на разведение удобряющего скота. Далее идут приготавительные работы еще громаднейшего размера: сооружение водопроводов, насыпей и т. д.

Можно ли сказать обо всех этих трудах, что производительность их уменьшается с увеличением числа работников? Положим, что при неподвижности техники 2 землепашца произведут на 5 десятинах менее 30 четвертей хлеба, когда 1 землепашец производил на этих же десятинах 15 четвертей. Но если 1 кузнец выделывал в год 15 плугов, то с какой стати 2 кузнеца не выделают 30 плугов? Если довольно было одного человека для ухода за 15 коровами, дающими удобрение, то неужели 2 человека не могут иметь такого же ухода за 30 коровами? Если 1 человек на 1 фуре мог возить на глинистое поле кубическую сажень песка в день, то неужели 2 человека на 2 фурах не могут привозить 2 кубических сажени? Наконец, если 1 каменщик клал 1000 кирпичей в день при сооружении водопровода, то неужели два человека не могут класть 2000 кирпичей?

Непростительно легкомыслие, с которым Мальтус и его последователи говорили об упадке производительности вообще всего сельскохозяйственного труда при размножении работников, не замечая того, что сельскохозяйственный труд разделяется на прямой и приготавительный; что в приготавительном труде возрастание числа работников нисколько не ослабляет производительности труда каждого из них и что совершенствование земледелия есть расширение именно этой части сельскохозяйственного труда, нисколько не теряющей свою производительность от возрастания числа работников.

Приготавительный труд имеет своим результатом основной капитал, дающий постоянную прибавку продукта в целом ряду операций. Какова же продолжительность этого его влияния? Плуг не вечен; скот также живет не очень много лет; итак, основной капитал земледелия имеет части, действие которых ограничивается известным числом лет и которые требуют возобновления, то есть повторения того же труда. Но те части основ-

ного земледельческого капитала, которые соответствуют высшим степеням развития и которые постепенно должны получить колоссальное развитие, имеют по натуре своей почти вечное действие, существуют тысячи лет, не нуждаясь в возобновлении. Водопроводы стоят по нескольку столетий; насыпи еще гораздо долговечнее; наконец, улучшения геологического состава почвы останутся в полной силе через десятки тысяч лет. Чем выше будет подвигаться земледелие, тем долговечнее будет действие приготавительного труда, совершающего улучшения, требуемые развитием земледельческого искусства.

Действие основного капитала на увеличение продукта измеряется, как известно, процентами. Мы считаем не лишним вникнуть в это дело, потому что без ясного понятия о нем не был бы ясен и характер дальнейших наших соображений.

Если основной капитал требует возобновления чрез известное число лет, то проценты его действия мы получим, вычитая из производимой им прибавки к продукту два количества: 1) процент погашения, то есть количество продукта или труда, нужное для возобновления основного капитала по истечении срока его действия; 2) процент ремонта, то есть количество продукта или труда, нужное на починку основного капитала и вообще на содержание его в исправности. Положим, например, что соха стоит 2 четверти пшеницы, а хороший плуг — 12 четвертей; если так, замена сохи плугом составляет приложение к земледелию основного капитала в 10 четвертей пшеницы. Положим, что введение глубокой пропашки плугом вместо плохой пропашки сохою дает увеличение жатвы со всего возделываемого одним плугом участка в 5 четвертей пшеницы. Положим, что на ремонт плуга нужно употреблять  $\frac{1}{2}$  четверти в год и надобно откладывать по 1 четверти в год на приобретение нового плуга к сроку, когда прекратится служба прежнего. За этими вычетами из 5 четвертей прибавки, даваемой плугом, остается  $3\frac{1}{2}$  четверти; эти  $3\frac{1}{2}$  четверти составляют 35% на 10 четвертей, нужных для приобретения плуга вместо сохи. Если так, 10 четвертей хлеба, пошедшего на увеличение основного капитала приобретением плуга, дают 35% прибыли.

Если основной капитал не требует возобновления, то, разумеется, надобно вычитать только ремонт из прибавки, даваемой им в продукт. Положим, например, что постройка водопровода, стоившая 1 000 000 четвертей, дает на всех полях, орошаемых этим водопроводом, прибавку в 100 000 четвертей. Если ремонт водопровода стоит ежегодно 60 000 четвертей, то остаются 40 000 четвертей чистой прибыли, составляющей 4% на основной капитал.

В следующих выкладках, говоря о действии приготавительного труда на увеличение продукта, мы будем говорить, конечно, только об этой чистой прибыли, потому что возобновление ос-

нового капитала и ремонт его, разумеется, занимают руки, отвлекают их от занятия прямым земледельческим трудом и от создания нового основного капитала, следовательно, не содействуют возвышению производительности прямого земледельческого труда, а служат только на поддержание прежней производительности. Если, например, мы скажем, что приготовительный труд 100 человек дает 2% прибавки в продукте, слова наши надобно будет понимать таким образом. Положим, что на содержание 100 работников нужно 1000 четвертей хлеба. Из этих 100 работников известное количество занимаются ремонтом и возобновлением прежнего основного капитала, а другие производят новый основной капитал в таком количестве, что в продукте получается прибавка 20 четвертей.

Сделав эти предварительные замечания, беремся за сущность дела.

Прежде всего нам надобно рассмотреть, с какою именно быстротою могли бы размножаться <люди> при нынешних своих нравах и нравственных понятиях, если бы способность размножения действовала без всяких задержек.

Тут мы с первого же шага встречаем у Мальтуса, а еще больше у его последователей, расчеты такого рода: положим, что каждая женщина выходит замуж и начинает рождать детей с такого-то возраста; период беременности продолжается 9 месяцев, для кормления грудью младенца положим еще год, — всего выходит меньше двух годов; потом женщина будет снова беременна; период способности ее рождать детей продолжается столько-то лет; итак, разделив эти годы на 2, мы увидим, что каждая женщина будет матерью столько-то детей; итак, население имеет способность удваиваться во столько-то лет. Цифра вывода оказывается поразительная: по одному автору население может удваиваться в 15 лет, по другому в 12, по третьему в 9, а четвертый говорит, что легко ему удваиваться и в 8 лет.

Прекрасно, но только в том дело, что все подобные расчеты — чистая фантазия, нелепейшая утопия. Попробуем считать таким образом, например, хотя то, сколько томов может написать романист. Пусть он начинает писать с 20 лет, продолжает до 70 лет; на сон, обед, отдых довольно 12 часов в день {положим еще 2 часа на обдумывание и поправку сочинений; — *зачеркнуто*}, остается 10 часов в день, — что ж 12 часов в день работать очень можно; в час очень легко написать 1½ страницы того формата, как печатаются наши журналы, — итого в день 18 страниц, в год 5 400 страниц (5 дней тут еще дано на безделье, на болезнь или поездки), — то есть целое годовое издание «Отечественных записок»<sup>20</sup> или «Современника», а в 50 лет 600 томов величиной в книжку «Библиотеки для чтения» или 1 000 томов величиною в книжку «Русского вестника». Расчет



прост и бесспорен, а на деле оказывается, что сам Дюма-отец — со всеми своими сотрудниками не исписывает и половины той массы бумаги, какая вышла по нашему счету; по нашему счету Вольтер и Лопе де Вега были просто ленивцы, почти не бравшие пера в руки <sup>21</sup>.

Попробуйте считать точно таким же способом, и вы найдете, что одно тягло <sup>22</sup> может вспахать, засеять и убрать 50 десятин хлеба, 20 землекопов могут в год вырыть огромный канал, каждый мальчик к 12-летнему возрасту кончить курс в университете, к 15 годам превзойти ученостью самого Гумбольдта <sup>23</sup>, наконец, в 25 лет честным и правильным образом приобрести миллионы, начав карьеру с одним рублем. Все это повторение известной сказки о расчетах Альнаскарара.

Обращаясь от этих потех праздного воображения к действительности, мы еще не найдем в науке совершенно точных оснований для определения пропорции, по какой может размножаться человеческий род в благоприятнейших условиях. Каждый знает, что есть множество женщин, имеющих слишком малую физиологическую способность становиться матерями, но медицинская статистика еще не собрала цифр об этом, и медицинская физиология еще мало разъяснила этот вопрос. Потому теперь нам приходится довольствоваться одними грубыми эмпирическими данными о том, какое число детей может родиться в год на 1 000 человек населения. Если эти цифры и были бы очищены критикой, они все-таки оставались бы лишь приблизительными, а не совершенно точным выражением размера физиологической способности размножения, потому что есть всегда в обществе множество обстоятельств и влияний, мешающих некоторым женщинам становиться матерями; эти влияния всеми замечаются, и потому обыкновенно предполагают, что число рождающихся ниже той цифры, какой могло бы достигать при полном просторе действия физиологических сил. Но есть влияние, имеющее противоположное действие, — влияние, поднимающее цифру действительно рождающихся детей выше того предела, на котором она остановилась бы, если бы не была внешней образом возбуждаема к чрезмерной деятельности. Этих влияний, главным образом, три, и только одно из них, ненормальное раздражение фантазии, довольно часто принимается в расчет. Два другие, замечаемые гораздо меньшим числом ученых, вероятно, действуют еще сильнее: одно из них, до сих пор бывшее постоянным и повсеместным, — подчиненное положение женщины, ее экономическая несамостоятельность и подвластность по закону и по обычаю. Родственники заботятся отдать девушку замуж раньше, чем вздумалось бы ей самой искать женихов. Живя замужем, она очень часто делается матерью не столько по своей воле, сколько по воле мужа, которому, натурально, смотреть на это гораздо легче, нежели ей, испытывающей все неудобства и

болезни беременности, родов, кормления младенца и ухода за ним. Тяжесть этого долгого периода так велика, что очень многие женщины, раз испытав его, не захотели бы подвергаться ему вновь. Но мужу до этого мало дела. Милль принадлежит к немногим экономистам, замечаящим это важное обстоятельство: мы увидим впоследствии, что от приобретения женщиной большей возможности получать своим трудом приличные средства к жизни он ожидает очень значительного уменьшения в количестве рождений. Есть еще третье обстоятельство, не замечаемое почти никем, но до недавнего времени чрезвычайно сильно действовавшее во всех европейских странах и до сих пор продолжающее действовать в большей части их. У нас поселянин спешит женить сына, чтобы иметь в доме лишнюю работницу. Тот же расчет существует во многих частях Германии и Франции, лет сто тому назад он существовал решительно повсюду, где женатый сын не отделялся от отцовского хозяйства; а где женитьба ведет молодого человека к основанию отдельного хозяйства, там он торопится ею, чтобы скорее стать независимым. Уменьшение пропорции рождений к населению, обнаруживающееся в передовых странах Западной Европы с начала нынешнего века, показывает, что влияния, уменьшающие число рождений, берут верх над влияниями, возвышающими его за предел свободного действия физиологических сил. Но если мы посмотрим в общественные отношения и обычаи России, то придем к мысли, что сила уменьшающихся влияний далеко не так велика, как сила влияний, поднимающих число рождений выше натуральной пропорции. Если бы мы могли считать точными статистические данные, относящиеся к нашему отечеству, мы имели бы в них цифру рождений, которая, по всей вероятности, выше и уж никак не ниже нормальной физиологической величины способности к размножению. Мы пробовали делать эти вычисления за десятилетний период, 1846—1855 годы, и в среднем выводе получили 39 рождений на 100 человек населения. Но люди, занимающиеся нашей статистикой, согласятся с нами, что на ее цифры нельзя полагаться очень доверчиво. Итак, мы попробуем основать эти соображения на цифрах, относящихся к Франции. Большая часть французского населения до сих пор живет в патриархальном быте, но значительная часть вовлеклась теперь в новые экономические условия, понижающие число рождений. В конце прошлого века этой перемены еще не было: во Франции тогда, как теперь у нас, действительная цифра, вероятно, была выше, но никак не ниже естественной. Мы имеем несколько разных цифр об отношении рождений к населению во Франции в конце прошлого века и возьмем из них за основание расчета самую высшую — 40 рождений на 1000 человек населения. Сравнивая ее с цифрами других европейских стран того периода, когда число рождений было разве больше, а никак

не меньше нормального, мы видим, что она уже никак не может быть названа слишком малой: более 40 рождений на 1 000 человек встречаем мы редко, и обыкновенно эти случаи прямо обнаруживают в себе признаки большой неточности счета; цифры ниже 40 встречаются гораздо чаще<sup>24</sup>.

Попробуем же сообразить, каково могло бы быть возрастание населения при таком числе рождений и при наименьшей смертности, какая только допускается физиологическим устройством человека.

Берем таблицы смертности Депарсье-Флоранкура<sup>25</sup> и смотрим, во-первых, какова бывает смертность детей в первые два года жизни, когда нет физиологической возможности, чтобы многие из организмов не погибали при всевозможной благоприятности гигиенических условий и заботливого ухода. Мы видим в этих таблицах, что из 10 000 рождающихся умирают в первые два года 2 912. Конечно, огромное большинство смертей тут производится неблагоприятною обстановкою. Мы уменьшим почти в три раза это число и положим, что только одна десятая часть рождающихся младенцев не могла бы быть спасена никакой заботливостью {а остальные девять десятых умирают от нужды и невежества — *зачеркнуто*}.

---

Положим, что число населения 1 января 1<-го> года было 100 и что хлебопашцы этого населения произвели 400 четвертей хлеба; тогда производительность хлебопашества будет 4 четверти хлеба на человека.

Положим, что население возрастает ежегодно на 3%. Тогда к 1 января 2<-го> года будет оно иметь 103 человека. Если 100 человек имело 400 четвертей, то 103 человека должны иметь 412 четвертей, иначе их продовольствие ухудшится.

Если бы производительность нового труда в земледелии не была меньше производительности <прежнего>, труд новых 3 человек произвел бы 12 четвертей, как труд 100 человек прежних производит 400. Но по Мальтусовой формуле производительность этого нового труда меньше, — процент ослабления производительности нового труда равен проценту, по которому возрастает его количество. Сколько же хлеба произведут новые 3 человека вместо 12 четвертей, которые были бы нужны.

Их производительность относится к прежней, как 100 относится к 103.

$$x : 4 = 100 : 103.$$

Из этого получаем  $x = 3,8835...$

Итак, новые 3 работника произведут только  $3 \times 3,8835 = 11,6505$  четвертей; а вся сумма продукта будет 411,6505 четвертей, вместо полных 412 четвертей, которые были бы нужны.

Недочет будет

$$412 - 411,6505 = 0,3495 \text{ четвертей.}$$

Вот именно появление этого недочета и составляет причину нужды.

Заслуга Мальтуса в том, что <он> формулировал это обстоятельство и заставил людей внимательнее прежнего подумать о нем.

Он совершенно прав.

Появление недочета может предотвращаться усовершенствованиями, от которых возвышалась бы производительность земледельческого труда настолько, чтобы вознаграждался этот недочет, продолжают Мальтус и его последователи.

Продолжаем искать цифры по их словам. Как велико должно быть влияние усовершенствования для покрытия найденного нами недочета?

Чтобы вместо 411,6505 явилось 412 четвертей в жатве 2<-то> года, производительность прежнего труда должна в этом году подняться от улучшений настолько выше 4, насколько требуемый сбор, 412, выше 411,6505, получаемого без усовершенствований.

$$x : 4 = 412 : 411,6505;$$

получаем  $x = 4,0034$ .

Это значит, усовершенствования должны быть произведены в таком размере, чтобы известная часть прежнего труда, в первом году дававшая 4 четверти, теперь дала уже не 4 четверти, как было бы без усовершенствований, а 4,0034 четверти.

В самом деле, тогда мы будем иметь:

10 прежние работника произведут по 4,0034 четверти, 400,34 четвертей.

3 новые работника, труд которых менее производителен (по прежней пропорции к старому труду), произведут по

$$\frac{4,0034 \times 10}{103} = 3,8868 \text{ четв.,}$$

а все 3 вместе 11,6604 четвертей,

$$400,34 + 11,6604 = 412,0004^*.$$

Итак, велико ли нужно усовершенствование или в устройстве орудий или в способе пользования ими, или в качестве, или в количестве удобрения, или в способе пользования им, или в качестве посева, чтобы недочета не оказалось, чтобы пропорция продовольствия не уменьшилась при возрастании населения?

\* Небольшая неточность в 0,0004 четвертей получена оттого, что дроби, нам представлявшиеся, были бесконечные, всегда дающие неточность в последнем знаке, на котором остановились мы при вычислениях их.

Это влияние должно возвысить прежние 4 до 4,0034 — то есть оно составляет 0,085%, менее чем одну одиннадцатую часть процента.

Теперь спросим: что же это такое за величина 85 тысячных частей процента? Чувствительна ли она? Она значит вот что: к пуду она составляет прибавку в  $3\frac{1}{2}$  золотника. Кажется, не бог знает какая громада привалила к пуду? Да полно, заметна ли будет она для глаза или для плеч? Не на весах ли и притом не на очень ли хороших только весах можно подметить ее?

Выведем теперь общую формулу для величины усовершенствования в земледельческом производстве при данном проценте возрастания населения. Назовем население первого года  $P$ ; число людей, которыми оно увеличится ко  $2<-му>$  году,  $N$ , процент его возрастания  $\left( = \frac{A+N}{N} \right)$  назовем  $n$ , производительность труда прежних работников  $Q$ .

Продукт 1-го года будет  $PQ$ .

На второй год, для сохранения прежней пропорции продовольствия, населению  $A+N$  было бы нужно иметь продукт  $PQ+NQ$ .

Но без усовершенствований он будет только  $PQ + \frac{NQ}{n}$ ,

или, подставляя вместо  $n$  его величину,  $PQ + \frac{ANQ}{A+N}$

Чтобы продукт  $2<-го>$  года стал равен требуемому  $PQ + NQ$ , недостает величины  $X$ , которая должна быть пополнена усовершенствованием производства. Итак, мы имеем:

$$PQ + NQ = PQ + \frac{ANQ}{A+N} + X,$$

или, уничтожая знаменатель дроби,

$$(A+N)X = (A+N)PQ - (A+N)PQ + (A+N)NQ - AXQ,$$

или, за вычетом:

$$(A+N)X = ANQ - ANQ + N^2Q,$$

то есть

$$X = \frac{N^2Q}{A+N}.$$

Возвращаясь к прежнему примеру и полагая  $x=100$ ,  $N=3$ ,  $Q=4$ , мы будем иметь:

$$X = \frac{3 \cdot 3 \cdot 4}{100 + 3} = \frac{36}{103} = 0,3495.$$

## ЧЕРНОВИКИ «ОЧЕРКОВ»

### Вариант предисловия к «Очеркам»

Начиная печатать в «Современнике» перевод «Оснований политической экономии» Милля, я не рассчитывал издавать весь этот труд в такой форме. Одна первая книга переводимого мною трактата заняла с моими примечаниями около 27 печатных листов, а в подлиннике она составляет лишь одну пятую часть всего сочинения. Очевидно, что продолжать печатание перевода при «Современнике» значило бы слишком обременять журнал и слишком длить самое издание переводимого трактата. Он должен явиться в свет отдельными томами. Зачем же было в таком случае начинать при журнале печатание сочинения? На это была особенная причина, отгадать которую было нетрудно по некоторым выражениям предисловия к 1 тому перевода. Вот эти слова. Сказав, что журнал, в котором я участвую, имеет на экономические вопросы взгляд, во многом отличающийся от мнений, излагаемых у нас почти всеми так называемыми экономистами, я продолжал:

Переводя книгу Милля, мы хотим дать читателю доказательство, что большая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее, сочиненным нынешними французскими так называемыми экономистами по внушению трусости.

Милль пишет, как мыслитель, ищущий только истины, и читатель увидит, до какой степени различен дух науки, им излагаемой, от направления тех изделий, которые выдаются у нас за науку.

Верный признак удовлетворительного или неудовлетворительного состояния науки — удовлетворительность или неудовлетворительность ее терминологии. Возьмите, например, чистую математику или астрономию. Сложение, вычитание, коэффициент; орбита, эксцентриситет, меридиан, зенит, — все это такие слова, что под каждым из них разумеется совершенно определенное понятие, а, главное, никакого иного понятия кроме настоящего не представляется при каждом из них,

*(На этом рукопись обрывается)*

### Отрывок, относящийся к книге III «Обмен»

Мы видели, что кредитные бумаги представляют собою только как будто бы возведение во вторую степень, развитие принципа, из которого возникает звонкая монета. Они только живы звонкою монетою, исполняют ту же самую функцию, и как

деньги сами по себе не производят никакой перемены в направлении экономической деятельности, а только способствуют облегчению оборотов в быте, основанном на обмене, точно так же и кредитные бумаги только облегчают и развивают эти обороты, не внося в их сущность ничего нового. Но как при несколько высоком развитии быта, основанного на обмене, необходимо являются деньги, так при более высоком его развитии являются кредитные бумаги. А на высоких ступенях развития такого хозяйства приобретают чрезвычайную силу явления, почти не заметные при незначительном его развитии. По обыкновенной иллюзии поверхностного взгляда, смешивающей внешнюю принадлежность дела с самим делом, симптом или форму явления с причиной явления, очень распространен предубеждение, приписывающий собственно кредитным бумагам те феномены, которые достигают громадного развития только при высоком развитии экономической деятельности. Из этих феноменов очень занимательны так называемые коммерческие кризисы — занимательны по той же самой причине, по которой занимательны землетрясения. Вот краткое извлечение из отдела, в котором Милль объясняет натуру этого страшного экономического феномена, ломающего фирмы, разрушающего фабрики, оставляющего без куска хлеба тысячи богачей и миллионы работников.

Покупательная сила человека состоит из всех его денег в сложности со всем его кредитом. При обыкновенных обстоятельствах он пользуется только частью этой покупательской силы. Но если он воспользуется ею всею, запрос на товары увеличится, цена их поднимется. Это может произойти и без всякого пособия кредитных бумаг: покупки в кредит могут совершиться и под простые расписки покупателя или по простой записке в счетные книги продавца; такие покупки тоже будут иметь то же действие на цены, как покупки на коммерческий вексель или на банковые билеты. Следовательно, дело это зависит не от того, какие формы кредита употребляются, и не от того, выпускается ли для них новое количество кредитных бумаг, а просто от расположения покупателя пользоваться для покупок всем своим кредитом и от состояния его кредита. Расположение пользоваться всем своим кредитом для покупок является у негоцианта, когда он ожидает прибыли себе от расширения своих покупок. Если все ждут, что цена на товар поднимется по урожаю его или по экстремному увеличению запроса на него, негоцианты, торгующие этим товаром, спешат закупить его побольше, чтобы продать потом по возвышенной цене. От этих усиленных закупок цена товара действительно растет, и спекулянты начинают покупать для выгодной перепродажи. Таким образом цена товара поднимается до чрезмерной высоты, на которой не может держаться. Заметив это, спекулянты спешат

продать его, чтобы не потерпеть убытка; цена товара падает; от этого увеличивается желание продать его как можно скорее, цена падает очень низко от чрезмерной горячности продаж. Все спекулянты, не успевшие сбыть товары до упадка цены, остаются в проигрыше. Все это может происходить и в обществе, совершенно не знающем кредита, при покупках на звонкую монету: дело зависит только от расположения увеличивать покупки, от спекулятивной горячности, а не от того, на кредит или на звонкую <монету> покупаются товары. Кредит только придает больше живости этому ходу дел, как вообще всяким торговым оборотам. При нем для чрезмерного расширения покупок расширяется пользование им; без него то же совершалось бы увеличением быстроты обращения звонкой монеты. При нем упадок цены сопровождается сокращением его; без него сопровождался бы уменьшением быстроты в обращении звонкой монеты. Это кризис в торговле одним известным товаром. Но если чрезмерное возвышение цен производится расчетом на особенную живость всей торговли вообще и, следовательно, на возвышение цены всяких товаров, то и неминуемому упадку цен подвергаются все товары,— такой всеобщий упадок цен от предшествовавшего чрезмерного их возвышения и называется коммерческим кризисом. Тут все хотят продавать, и никто не хочет покупать; потому стесняется ход всякого производства, пока упадок цен исполнит свое дело: разорит неосторожных спекулянтов, неуспевших во-время продать товары, купленные слишком дорого.

С коммерческими кризисами связан вопрос о так называемом излишке снабжения, — вот как разъясняется он у Милля.

(Здесь вставить № 8 боргеса)

#### Отрывок, относящийся к книге IV «Экономический прогресс»

Величина реальной рабочей платы определяется привычками и требованиями рабочих классов. Так. Чем же определяется уровень требований работника? {степенью его уважения к самому себе, чувством собственного достоинства. Кто не уважает себя, тот может обойтись даже без хлеба, может поддерживать свое существование картофелем {как недавно делали ирландцы} или непобедимыми надобностями <ми> — *зачеркнуто*}. Наименьший уровень поставляется физическою необходимостью, например, без известного количества пищи человеческий организм не может оставаться жив. Но этот minimum, будучи довольно мал по количеству, может быть чрезвычайно низок по качеству: вместо хлеба человек может питаться картофелем (в Ирландии), овсянкою, смесью хлеба с отрубями, с древесною корою, с лебедою и т. п.; в одежде, жилище, топливе понижение качества и даже количества



может идти еще гораздо дальше, чем в пище. Словом сказать, уровень, необходимый только для поддержания жизни человека, далеко

*(На этом рукопись обрывается)*

### **Отрывки, относящиеся к кн. V «Правительственное влияние»**

...различает спорные и бесспорные права или обязанности правительства и находит, что уже и одни бесспорные права и обязанности его, от которых оно никак не может отказаться и которых никто никогда не хотел отнимать у него, простираются гораздо дальше круга, устанавливаемого мнением, будто бы оно должно или может ограничиваться ограждением людей от насилия и обмана.

*(Здесь вставить боргесом № 2)*

Мы заметим, что и относительно всех других форм коллективного действия надобно придти к такому же заключению, какое находит Милль по вопросу о круге действий правительства, составляющего одну из этих форм. Кроме общего принципа полезности, нельзя тут выставить никакого другого принципа. Если в данном случае полезно для общества и для отдельных людей, чтобы известное дело велось без всякого общественного участия или вмешательства, оно так и должно вестись; вмешиваться в него каким бы то ни было образом обществу не нужно. Если же оказывается, что общественное участие полезно для дела, общество должно участвовать в нем тем способом, какой оказывается нужен и полезен. Мы не будем развивать этой мысли, потому что отказались от исследования вопроса о других формах общественного действия, кроме правительственной власти, о которой достаточно сказано у Милля. Но и само собою ясно, что расчет пользы, служащий верховным принципом всякой экономической деятельности, не может не быть коренною нормою при решении вопросов о границах общественного влияния на то или другое экономическое дело. Довольствуясь нынешний раз этим общим замечанием, переходим к пересмотру частных вопросов о правительственном влиянии, встречаемых нами у Милля

---

{Очень может быть, что читателю было бы интересно знать, какой вид должны принять рассмотренные нами феномены общественной жизни при быте, сообразном с принципами экономической науки: каковы были бы тогда налоги, что произошло бы тогда с государственным долгом? Ответ очень прост: этих феноменов не допускают принципы экономической науки. Если мы рассмотрим бюджет Франции или Англии, мы увидим, что две трети его составляют расходы на войну и на проценты по долгам,

наложенным войною. Война есть элемент, отвергаемый экономической наукою при нынешнем отношении цивилизованных народов к варварам и хищническим племенам. Очень может быть, что колонисты Новой Зеландии не могут обходиться без войны и военных приготовлений, будучи окружены свирепыми дикарями, готовыми истребить их при первой оплошности. Впрочем, из самих колонистов Новой Зеландии многие говорят противное, приписывая нынешнюю войну в своей колонии только несправедливостям своих сограждан-колонистов относительно туземцев. Но как бы там ни было в Новой Зеландии, а европейские страны от Атлантического океана до Уральского хребта не имеют причины опасаться никаких варварских племен, а от войны между собою или с народами других частей света европейцы не могут получать ничего, кроме убытка. Таким образом  $\frac{2}{3}$  части бюджета оказываются результатом прошлых или настоящих ошибок против экономических принципов. Из остальной трети по крайней мере половина порождается только неудобствами, возникающими от взимания этих двух третей — *перечеркнуто*).

## ВАРИАНТЫ «ОЧЕРКОВ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ» (ПО МИЛЛЮ)

### <Распределение, кн. II>

С экономической стороны цель, какую человек имеет, трудясь над производством предмета, состоит в том, чтобы удовлетворять посредством этого продукта своим потребностям, — короче говоря — *пользоваться* предметом. Таким образом собственно экономическое понятие о принадлежности предмета человеку есть понятие пользования. Из исторических обстоятельств, из действия сил человеческой природы, посторонних силе экономического труда, могут возникать и действительно возникали разные другие формы {отношений между человеком и внешним предметом, но все они находятся вне круга — *зачеркнуто*} принадлежности предмета человеку, но напрасно было бы стараться подкладывать под них экономическое основание. {Мало ли чего можно найти и в современном быте и в истории. Они лишены его.

Ограничивая отношение человека к предмету одною формою пользования, экономическая наука вводит ограничение — *зачеркнуто*).

Чтобы точнее разъяснить это, возьмем примеры из трех отраслей жизни, самых далеких одна от другой, так чтобы все другие случаи находили себе место в границах, описываемых этими тремя крайними пределами. Возьмем очень высокое проявление собственно экономической жизни, огромный купеческий пароход {с его принадлежностями: пристанью, доком и железною дорогою от пристани к месту производства или потребления — *зачерк-*

нуто}), возьмем также очень высокое проявление чисто умственной жизни — процесс возникновения какого-нибудь математического или астрономического трактата, например, «Небесной механики» Лапласа<sup>26</sup>; возьмем, наконец, самый многосложный способ удовлетворения эстетическому стремлению человека — сценическое представление. Посмотрим, какие экономические надобности имеет человек по каждому из этих фактов и какое отношение его к предмету теоретически возникает из этих надобностей.

Купцу надобно перевести в Ливерпуль массу хлопчатой бумаги, купленную в Нью-Йорке. Для этого ему нужно, чтобы груз нашел себе помещение на пароходе и в целости был доставлен на нем в ливерпульскую пристань. Что же нужно купцу в пароходе? Нужно на известное время воспользоваться известной частью пароходного помещения. Нужно ли ему что-нибудь от парохода сверх того? Очевидно, нет. Очевидно, что более интимное (если можно так выразиться), более прочное отношение к пароходу будет только обременением для купца, только стеснением для его оборотов по хлопчатобумажной торговле.

Действительно, предположим, что он хозяин парохода. Очевидно, что этим обстоятельством прибавляется ему очень много хлопот и неудобств, от которых избавлен он, когда перевозит свой товар на пароходе, не принадлежащем ему. Он должен заботиться об исправности парохода. Через это средства купца раздробляются по двум делам, и, конечно, размер его оборотов хлопчатую бумагою уменьшается от этого раздробления. Притом же нельзя за двумя делами наблюдать так хорошо, как за одним. Мало того, что торговые средства купца уменьшаются и исправность его надзора за своею торговлею ослабляется, он не может уже совершенно свободно располагать ходом своих оборотов. Ему приходится иногда медлить отправлением товара в ожидании, пока воротится его пароход из прежнего рейса; иногда ему приходится чрезмерно спешить закупкою или отправлением товара, чтобы пароход не стоял в пристани праздным. Едва ли когда случится, чтобы собственно по хлопчатобумажной торговле выгодно было иметь товара ровно в том количестве, какое нужно для загрузки пароходов: иной раз товара мало на целый пароход, и купец должен приобретать лишний товар или хлопотать о зафрахтовании чужого товара; иной раз товара слишком много по размеру парохода, и часть его должна лежать в ожидании нового рейса, или купцу приходится иметь со своим товаром двойные хлопоты по содержанию своего парохода и по найму другого парохода. {Еще ярче выступает такое отношение к самой пристани. Купцу нужно только пользоваться известною частью пристани в известные периоды времени, когда его товар грузится или выгружается в ней. Точно так же ему нужно только пользоваться и доками на ливерпульской пристани и железною дорогою из Ливерпуля в Манчестер, где он продаст свой товар — *зачеркнуто*.}

Дело ясное, что собственно экономический расчет требует только пользования и что всякое другое отношение к предмету влечет за собой стеснительность, обременительность, невыгоду. Впрочем, разумеется, мало ли в какую необходимость ставится иногда человек или внешними неблагоприятными обстоятельствами, или собственными предубеждениями, помрачающими способность его рассчитывать или мешающими ему держаться рассчитанной выгоды? Быть может, между Нью-Йорком и Ливерпулем не плавают пароходы; а нашему купцу надобно отправлять на пароходе. Нечего делать, он должен будет обзавестись своим пароходом. Или, быть может, пароходы между Ливерпулем и Нью-Йорком плавают, но все хозяева и шкипера их — плуты, так что никому из них наш купец не может доверить своего товара. Нечего делать, он опять должен обзавестись своим пароходом. Или, быть может, у нашего купца тщеславие берет верх над расчетом: быть может, он готов жертвовать коммерческою выгодою, лишь бы носить кажущееся ему почетным имя судохозяина: «я, дескать, не простой купец, у меня свои пароходы». Что ж, и в этом случае он обзаведется своим пароходом.

Но читатель видит, что во всяком случае купец ставится к пароходу в отношение, более тесное и прочное, чем простое пользование, не по экономической сущности дела, а по внешним обстоятельствам, неблагоприятным для успешности экономических дел. Действительно, не могут быть признаны выгодными для торговли обстоятельствами недостаток пароходов или недобросовестность их хозяев и шкиперов, или безрасчетное тщеславие торговцев.

Обращаемся к другому случаю из совершенно иной сферы жизни, рассматривая экономические надобности Лапласа, пишущего «Небесную механику». Надобности эти главным образом состоят в книгах и в инструментах для проверки представляемых книгами наблюдений. Если Лаплас может пользоваться всеми нужными ему книгами из библиотеки парижской обсерватории и если свободно ему пользоваться инструментами этой обсерватории, то всякое более прочное отношение к инструментам и книгам было бы ему обременительно. Положим, например, что все нужные Лапласу книги составляют исключительную и вечную принадлежность его как отдельного человека. Очевидно, что этим возлагается на него необходимость охранять их, необходимость, хлопотливая и неприятная лично для него и мешающая успеху его ученого занятия. Но еще важнее то неудобство, что подобная принадлежность возникает только из приобретения, а для личного приобретения нужных Лапласу книг требуется огромное количество труда, так что Лапласу удалось бы, разве лишь в очень поздние годы жизни, снабдить себя нужными для его труда предметами или вовсе никогда не удалось бы достичь этого. Таким образом, он или вовсе не мог бы приступить к своему ученому труду, или приступил бы к нему гораздо позднее.

чем приступил, и, начав его, вел не так успешно, как вел. Но, разумеется, мы опять можем предположить обстоятельства, в которых устанавливалось бы между Лапласом и нужными ему предметами это невыгодное для его труда отношение прочнее простого пользования. Предположим например, что Лаплас занимается своим ученым трудом не в Париже, а в какой-нибудь глухой британской деревушке, где нет ни обсерватории, ни публичной библиотеки, или пусть он живет в Париже, но распорядители парижской обсерватории и парижских библиотек, по личной ли вражде к нему, или по ученой завистливости, или по какому-нибудь предубеждению, не допускают его пользоваться обсерваториею и библиотеками,—в обоих этих случаях Лаплас подвергается невыгодной для его труда необходимости иметь инструменты и книги более чем в простом пользовании у себя; но в обоих случаях необходимость эта вытекает не из экономической сущности дела, а из внешних обстоятельств, неблагоприятных ему.

Берем третий случай,—потребность эстетического наслаждения сценическими представлениями,—например итальянское опероу. Тут уже и по нашим нынешним обычаям все так сроднилось с понятием простого пользования, что надобно объяснить не то, чтобы достаточность этого отношения к предмету, а разве возможность других более тесных форм отношения. Мы знаем, что при наших дедах еще существовали богачи, содержавшие у себя по деревням оперные труппы. Действительно, оперным оркестром и оперною труппою нельзя в деревне пользоваться иначе, как подводя их под форму исключительной принадлежности одному пользующемуся. Но теперь каждому понятно, что при подобных условиях, возникающих из одного тщеславия, невозможно пользоваться такой хорошою оперою, какой может наслаждаться всякий под формой простого пользования спектаклем, нимало ему не принадлежащим.

Соединяя общие черты дела во всех трех разнородных явлениях, выбранных нами для примера, мы видим, что наибольшая успешность дела соединена с формой простого пользования нужным для дела предметом, а все другие формы отношений человека к предмету вытекают из обстоятельств, не имеющих корня в сущности дела, вредных его успешности, стесняющих для человека пользование предметом.

По различию человеческих потребностей и по разнообразию предметов, им удовлетворяющих, размер пользования разными предметами, конечно, не одинаков.

{На первый взгляд представляется, будто бы есть чрезвычайная разница между предметами разных разрядов в том отношении, что предметы одних разрядов годятся лишь для исключительного пользования одному человеку, так что его пользованием уничтожается возможность пользования тем же предметом для других людей; между тем как в предметах других разрядов если

один пользуется предметом, это нисколько не мешает никому другому точно так же пользоваться тем же предметом. На этом основывается различие предметов, долженствующих составлять исключительную принадлежность индивидуального человека, от предметов, могущих делаться общим достоянием. На самом деле разница эта не совсем такова, как представляется невнимательному взгляду. Возьмем в пример картину, пользоваться которой могут в течение веков миллионы людей, нисколько не вредя ее своим пользованием {эту картину — *зачеркнуто*} — *перечеркнуто*).

Есть потребности, нуждающиеся в удовлетворении довольно редко, например в человеке, самом расположенном к эстетическому наслаждению, может по целым месяцам и годам не пробуждаться охота к посещению картинных галлерей. Иной раз человек, самый расположенный путешествовать и самый деятельный, живет по нескольку лет в одном городе, не встречая надобности и не чувствуя охоты выехать из него. Предметы другого рода мы должны иметь в своем пользовании постоянно или почти постоянно. Такова, например, надобность в одежде и жилище. Этим сама собой определяется разница между предметами, которые должны оставаться не находящимися в постоянном пользовании ни у кого, а только открытыми для временного пользования каждому, и между предметами, которым нужно быть в постоянном пользовании у известного отдельного человека. Экономические последствия внимания к такому различию очень важны. Обозревая весь круг предметов, какие нужны для постоянного пользования отдельному человеку, мы увидим, что весь итог их очень не велик и что вся сумма их, нужная для отдельного человека в данное время, производится довольно незначительным количеством труда. Так, например, если мы возьмем человека самого богатого и ведущего самый роскошный образ жизни, мы увидим, что постоянным жилищем ему служит лишь одна и обыкновенно небольшая, проще других убранная комната из всего огромного и роскошного его дома. Каждый взрослый человек в его семействе также имеет подобную комнату. Помещать в отдельной комнате каждого из маленьких детей своих он и его жена справедливо находят не нужным: для двух детей не тесно и не неприятно помещаться в одной комнате, лишь бы она была удобна для детской. Таким образом количество комнат, находящихся в постоянном пользовании семейства, окружающего себя всеми условиями комфорта, не превышает числа членов семейства, а вообще бывает несколько меньше этого числа. Все остальные комнаты служат лишь предметом случайного временного пользования, — для приема гостей и т. п. В этих комнатах, если можно так выразиться, нет никакой личной связи с отдельным человеком. Подобную разницу в итогах мы увидим, обратившись от жилища к одежде. Гардероб светского шеголя может быть наполнен десятками фраков, сюртуков, чуть не сот-

нями жилетов и т. д., но вся эта масса платья служит лишь для случайного употребления: дома, запросто он бессменно пользуется все одним и тем же халатом или пальто <платьем?>, и сам ни за что не захотел бы пользоваться другим, пока еще может служить ему это одно платье. То же самое относительно стола. У самых изысканных гастрономов ежедневный стол не многосложен и не отличается хитрыми блюдами.

Разумеется, встречаются и тут исключительные случаи: один может щеголять тем, что он сам своею персоною занимает много комнат: в одной он одевается, в другой сидит утром, в третьей вечером, в четвертой спит; другой может щеголять тем, что каждую неделю меняет пальто, которое носит запросто в своем кабинете, и т. д. Но, во-первых, такие люди редки и порицаются как люди пустые лицами одного с ними положения в обществе; во-вторых, тут предмет постоянного личного пользования насильственно выводится из своей сферы, получает назначение, противное своей натуре служит предметом не личного пользования, а похвалы, то есть уже общественного отношения. За исключением этих случаев, малочисленных и ненормальных, весь инвентарь предметов постоянного личного пользования очень невелик у каждого человека: одна комната, небольшое число довольно простой мебели, одна или много две пары платья, нужное количество белья, несколько любимых и несколько справочных книг, какой-нибудь музыкальный инструмент с несколькими тетрадами нот, несколько портретов близких лиц, быть может, еще несколько безделушек, драгоценных по личным воспоминаниям, — вот почти и все, что бывает в близкой связи с личностью человека. Все остальное существует как его личная принадлежность не по своей собственной надобности или интересности для него самого, как отдельного человека, а лишь как принадлежность его общественного положения, как признак или богатства или знатности.

Мы перечисляли только предметы, более или менее прочные, — предметы, которые или вовсе не разрушаются от пользования ими, а портятся лишь обветшанием независимо от пользования или изнашиваются использованием довольно медленно. Есть другие предметы постоянного личного пользования, разрушаемые одним актом пользования. Главный из них, разумеется, — пища. К таким предметам человек не имеет привязанности; он любит собственно лишь пользование ими, а не их самих. Пока он не пользуется таким предметом, предмет совершенно чужд его личности; как только он воспользовался таким предметом, предмет исчез. Следовательно, тут надобно говорить не о форме принадлежности предмета человеку, — принадлежность эта никому не нужна сама по себе, — а следует говорить только о принадлежности права пользоваться предметами известного разряда, как будто бы не имеющими для нас индивидуальности, как будто бы

сливающимися по каждому разряду в одну массу, выбор частей из которой безразличен для человека. Не знаем, удалось ли нам придать популярную форму понятию, которое хотели мы выразить. Но дело в том, что важность для человека тут лишь в праве его известной потребности на удовлетворение, лишь в обеспечении ему средств удовлетворения; тут отношение человека к предмету уже исключительно эгоистическое, своекорыстное, без малейшей примеси чего-нибудь похожего на привязанность к предмету в его индивидуальном существовании. Тут расчет уже исключительно экономический. Стол, на котором человек писал много лет, комната, в которой он долго жил, становятся для него важны не по одной сумме усилий, какую нужно употребить на приобретение комнаты или стола равного достоинства, а также и по связи их с его прошедшею жизнью. Но фунт говядины или хлеба, тарелка супа или бутылка вина имеют для него исключительно лишь ту важность, какая дается им их пригодностью для пользования в известную минуту и размером усилий, каких стоит приобретение этого минутного пользования. Стало быть, тут надобно рассчитывать лишь размер средств, какой нужен человеку на удовлетворение потребностей, удовлетворяющихся предметами этого рода; о том, годятся ли эти предметы для отношений более прочных, чем простое пользование, нечего уже и говорить; по самой натуре своей они только и годятся на простое пользование.

Обращаясь к потребностям, удовлетворяющимся такими предметами, мы находим, что внутренняя разборчивость этих потребностей очень невелика. В большинстве людей никакими стараниями не может она и быть доведена до степени сколько-нибудь высокой. Из тысячи человек, хвастающихся умением различать хорошие сорта вин от дурных, разве два-три человека действительно способны замечать эту разницу: сошлемся на свидетельство винных торговцев, содержателей знаменитых ресторанов и других лиц, имеющих ремеслом удовлетворять гастрономическим наклонностям людей. Они прямо говорят, что масса так называемых знатоков ровно ничего не смыслит в тонкостях, уменьем различать которые хвалятся эти знатоки. Действительных знатоков так мало, и до развития своего доведены они таким длинным рядом искусственных внешних отношений, что, рассуждая о сущности дела, следует оставлять без внимания эти редкие случаи.

Что же касается до массы людей {в каждом сословии — *зачеркнуто*} даже и при нынешних искусственных отношениях, следует сказать, что личная, неподдельная потребность человека даже и в сословиях с наиболее развитыми прихотями удовлетворяется почти у всех людей очень небольшим числом предметов, уничтожаемых одним актом пользования, и притом предметов, приобретаемых очень умеренною суммою труда.

Но совершенно иного рода дело, когда мы обратимся к потребностям нормальным, требующим лишь случайного, непосто-



янного пользования предметом, или когда обратимся к предметам, потребность в которых возникает не из личной надобности человека в отдельности от других людей, а из его общественных отношений. Тут разнообразие предметов бесконечно, и сумма труда, нужного на получение таких предметов, очень часто бывает колоссальною.

Первым примером этой разницы пусть послужат нам опять надобности Лапласа, пишущего «Небесную механику». Постоянно занимаясь чистой математикой, геометрией, астрономией, он, конечно, имел постоянную надобность в нескольких справочных книгах и классических сочинениях по этим наукам; имел постоянную надобность в циркуле и некоторых других принадлежностях для черчения фигур. Эти вещи должны были ежеминутно находиться в готовности для него, на его столе или на полках его книжного шкафа. Но стоило ли ему обременять полки этого шкафа книгами, заглядывать в которые иногда приходилась ему надобность или которые он прочитывал для развлечения или из любопытства и навсегда бросал, прочитавши раз? Мы уже видели, что постоянная принадлежность ему таких книг могла происходить лишь от обстоятельств, неблагоприятных самой успешности его занятий.

Возьмем другой пример: может ли существовать личная надобность для отдельного человека, чтобы ему принадлежал или театр, или музей, или что-нибудь подобное? Ныне человеку вздумалось съездить за город, завтра побывать в театре, послезавтра прокатиться по воде, — неужели надобно, чтобы все места и предметы удовлетворения этих разнородных желаний были постоянно прицепкою к его личности?

Читатель заметит, что до сих пор мы говорили исключительно о предметах так называемого личного потребления или предметах, пользование которыми прямо служит приятностью для нас. Есть предметы другого рода — предметы нашей производительной деятельности, пользование которыми нужно для нас не само по себе, а для того, чтобы приобрести через них пользование предметами личного потребления. Например, купцу, который в прежнем нашем примере покупал хлопчатую бумагу в Нью-Йорке, была нужна она лишь на то, чтобы прибыль от торговли его шла на приобретение предметов его личного потребления, в числе которых, быть может, вовсе нет ни ваты, ни коленкора, ничего другого, делаемого из хлопчатой бумаги (кроме разве только писчей бумаги, которую, впрочем, также делают из полстняного тряпья). В таком отношении к личности отдельного человека стоят по экономической теории эти предметы не личного потребления, а лишь экономической деятельности извещающего ему лишь средством к получению других предметов для личного потребления. Мы видим, что по самой сущности дела и

по собственной мысли человека, занимающегося этим делом, эти предметы должны только проходить через его руки, должны только подвергаться влиянию его труда, — словом сказать, предметы производительного труда должны быть, как уже и сказано в самом этом термине, предметами труда. {Этому отношению совершенно чуждо самое понятие пользования, — не только чуждо, даже противоположно ему, несовместимо с ним.

Быть может, нелишним будет сделать тут оговорку о двусмысленности употребляемых в экономической науке терминов, — двусмысленности, о которой уже несколько раз мы говорили в I томе перевода Милля. Если хотите, можно и это отношение называть пользованием: так и называли мы его выше, говоря о купце, перевозящем хлопчатую бумагу, которому... Пользование предметом, конечно, должно означать прямое употребление предмета на удовлетворение своей потребности. В таком смысле мы и употребляем этот термин. Но беспрестанно употребляю то же самое слово для обозначения совершенно иных фактов. Говорят, например, фабрикант пользуется хлопчатой бумагой как материалом, а фабриками и машинами, как орудиями для выделки коленкора. Или хлебопашец пользуется — *зачеркнуто* }.

---

В теории производства мы видели, что с человеческой точки зрения единственный коренной элемент производства — труд, потому что другой человеческий элемент, участвующий в производстве, капитал, лишь результат труда, лишенный всякой самостоятельности, нуждающийся в постоянном охранении со стороны труда и живущий лишь поддержкою от него, да и то живущий вообще очень недолго. Силы природы, если они действуют независимо от человеческого труда, не входят в экономический расчет, если же данный способ их действия происходит чрез приложение к ним человеческого труда, то они являются принадлежностью труда. Таким образом, отношение продукта к человеку должно определяться коренным образом по отношениям труда к производству продукта. Участие капитала в продукте представляется по теории производства лишь частною и притом второстепенною формою участия труда.

Мы видели в теории производства, что существуют два разные воззрения на сущность экономического труда. Очень распространен поверхностный взгляд, замечаящий лишь одну внешнюю сторону труда, определяющий его только как деятельность, производящую продукт. В таком случае совершение труда человеком приписывается исключительно потребности человека иметь предмет, который будет произведен трудом. Но мы замечаем, что кроме этой внешней стороны своих отношений к потребностям труд сам по себе служит удовлетворением одной из потребностей человеческого организма. Каждая часть организма нуждается

в деятельности и при соблюдении известных условий находит себе наслаждение в самой этой деятельности независимо от внешнего результата, бывающего результатом деятельности (перев. Милля, т. I, стр. 100—108).

Таким образом по теории производства отношение человека, участвовавшего своим трудом в произведении продукта, к продукту труда имеет два элемента: корыстный и бескорыстный. Человек трудится отчасти для того, чтобы иметь продукт, отчасти для того, чтобы наслаждаться самым трудом. Присутствие или по крайней мере значительное развитие второго бескорыстного элемента в труде зависит, как мы говорили, от некоторых условий. Каждая деятельность, долженствующая по своей натуре доставлять наслаждение человеку, может обращаться в неприятность для него, если происходит в неблагоприятных для нее обстоятельствах\*. Точно так и труд в противоположность коренному своему свойству может быть неприятностью для человека. В этом случае внутреннее влечение к труду отстраняется неблагоприятностью обстановки, и единственным побуждением остается надобность в продукте труда. Обыкновенная экономическая теория исследует исключительно этот один случай: при своем возникновении она не заметила ненормальность его, а теперь, когда ошибка обнаружена, еще продолжает по рутине держаться прежнего взгляда и даже усиливается доказывать его безусловную справедливость, доказывать, что расчет надобности в предмете всегда бывает в практике и должен считаться в теории единственным побуждением к труду. Попытка эта напрасна теперь, когда уже дознано, что кроме своих внешних последствий труд имеет физиологическое основание.

Спора нет в том, что при нынешней обстановке труда довольно редко служит он наслаждением. Но все-таки есть множество отдельных фактов по каждой отрасли производительного труда, доказывающих, что сама по себе эта отрасль труда доставляет трудящемуся наслаждение, как скоро соблюдены известные условия, сущность которых состоит лишь в том, чтобы устранены были обстоятельства, мешающие успешности труда.

Устранение обстоятельств, мешающих успешности труда, конечно, должно составлять предмет исследований науки, занимающейся вопросом о материальном благосостоянии человека. Обыкновенная экономическая теория слишком мало обращает внимания на эту сторону задачи. Она подробно занимается лишь вопросами об устранении препятствий второстепенных, забывая о самой главной и всеобщей причине того, что труд ныне вообще не имеет полной успешности, — о том, что слишком редко имеет он об-

---

\* Например, самое потребление пищи бывает неприятно, если пища не имеет надлежащих условий чистоты и сообразности с личными особенностями человека или если человек принужден по обстоятельствам принимать ее не во-время и т. д.

становку, при которой могло бы проявляться нормальное физиологическое его свойство — служить наслаждением для человека.

Ныне уже невозможно оспаривать ту мысль, что внешний результат труда — продукт производится гораздо успешнее, когда труд исполняется не по одной надобности в продукте, а также и по внутреннему влечению трудящегося. Потому в оправдание своей забывчивости к этому важнейшему условию господствующая экономическая теория уже утверждает теперь только то, что неудобноисполнимы условия, нужные для устранения неблагоприятной обстановки, мешающей труду быть наслаждением. Удобноисполнимы ли они в настоящее время или нет, — это вопрос, требующий довольно обширного изложения; а главное дело — то, что, если мы найдем положительный ответ на него, если физиологические и экономические факты заставят нас убедиться, что вся или почти вся масса экономического труда может иметь обстановку, при которой она будет совершаться с наслаждением, как совершается теперь труд в немногих случаях, — если мы принуждены будем фактами убедиться в этом, то получатся у нас для теории распределения и обмена принципы, очень различные от принципов господствующей теории. Не то, чтобы законы, разъясненные господствующею теориею, оказались в этом случае ложными, — нет, они сохраняют свою справедливость; но рядом с ними раскроются для нас еще иные законы, которыми видоизменяется их действие, найдены будут общие формулы для действия экономических сил, — формулы, в которых представляются лишь частными случаями формулы, претендующие по господствующей теории на безусловное значение; от этого изменится смысл и уменьшится важность теорем, разъясненных господствующею теориею, так что, быть может, не останется у нас и охоты изучать их со вниманием, какого требует для них она. Когда новая, более полная истина будет признана за истину большинством, когда отрывочное и половинчатое понимание истины, представляемое господствующею теориею, станет для большинства предметом такого же насмешливого пренебрежения, каким служит ныне меркантильная теория или протекционизм, — тогда, конечно, не будет надобности много заниматься этою неудовлетворительною теориею: споры с ее приверженцами будут тогда устраняться у большинства простыми словами, какими устраняются теперь споры с меркантилистами и протекционистами: «это отсталый взгляд». Теперь положение дел еще не таково. Ссылка на Рау или Рощера, на Бастиа или Шевалье еще имеет все авторитетности для большинства, и нам представляется необходимость, подобная той, какая бывает для европейца, рассуждающего, например, о судопроизводстве или о семейном быте с азиатцем, воображающим, что азиатские понятия об этих предметах очень хороши. Европейец должен вникать в них довольно подробно; извлекать для азиатца из азиатских

же понятий выводы, которых не замечал азиатца и которыми приближается этот азиатца к более верному взгляду на вещи. А начини ему европеец говорить с первого же раза лишь то одно, что действительно важно, называя пустяки пустяками, азиатца глубокомысленно возразит: «ты так думаешь потому, что ты невежда; ты не знаешь нашей азиатской истины», — и не станет слушать его.

Так оно и бывало обыкновенно. Не у нас у одних, а также и в Англии, Франции, Германии рутинные ученые, улемы и муфтии господствующей экономической теории<sup>27</sup>, поднимали крик о невежестве против всех мыслителей, излагавших теорию, более глубокую и полную: «вы не знаете нашей теории!»

Милостивые государи! Да чего тут не знать-то? будто бы изучить вашу теорию так трудно? Можно затрудняться изучением истории, или латинского языка, или немецкой археологии; много труда требует порядочное изучение статистики или ботаники, зоологии или медицины, а ваша политическая экономия — наука совершенно иного рода: знакомство с двумя, с тремя техническими приемами, знакомство с десятками двумя-тремя терминами, да знание двух-трех коренных ваших формул, — вот и вся штука. Изучить вашу теорию политической экономии — да на это требуется меньше времени, чем на то, чтобы выучиться рассказывать знаменитую сказку «про белого быка»: сказка бесконечная, очень занимательная, и вся штука в том, чтобы к какому хотите слову прибавляйте все одну и ту же фразу. Так и в господствующей теории ко всякому факту, ко всякому слову надобно только прибавлять: «свобода труда, свобода обмена, безопасность собственности», и не надобно даже разбирать, какую из этих фраз куда лучше приставить: всякая ко всему одинаково идет. Идет-то идет, спора нет, только что из этого выходит? А вот мы станем смотреть. Шутя будет оказываться, что и не совсем то, на чем останавливаются рутинисты политической экономии.

По теории труд должен вытекать из двух побуждений: из потребности организма в деятельности, которая сама по себе уже доставляет ему наслаждение, и из надобности в продукте, который производится трудом. Рутинная теория утверждает, что неудобноисполнимы для массы экономического труда те условия, при которых успешность производства оживлялась бы внутреннею привлекательностью самого труда, и принимает гипотезу, что единственным возбуждением к труду служит лишь надобность в продукте. На время, и на долгое время, мы совершенно оставляем критику этой гипотезы и будем рассматривать дело по принципам господствующей теории.

Она говорит: человек трудится лишь затем, чтобы получить продукт; поэтому необходимо, чтобы труд вознаграждался присвоением продукта; иначе не было бы расчета трудиться и прекратилось бы производство.

Эта основная идея господствующей теории не содержит в себе ничего кроме истины, но еще не обнимает собою всю истину. Положим, однакоже, по требованию господствующей теории, что тут заключена вся истина, и выведем результаты из нее.

Присвоение предмета человеку нужно для успешности труда над производством предмета; таким образом, на какие же предметы распространяется надобность присвоения по самому принципу господствующей теории? На предметы, производимые трудом. Продукт труда должен принадлежать труду. Это так. А что сказать о предметах, производимых или не силами человека или хотя и силами человека, но помимо экономического расчета? Этих предметов не касается принцип присвоения по самой теории, нами рассматриваемой. Может быть, они не должны принадлежать присвоению? Этого мы не знаем.

В цивилизованном обществе мало остается предметов, которых не коснулся бы труд. Но не всех предметов касается он в одинаковой степени. В одинаковой ли степени может назваться продуктом труда пшеница и земля, на которой выросла пшеница, лодка, плавающая по реке, дерево, из которого строится лодка, и река, по которой оно плавает? Если вам угодно, можете очень подробно разъяснить, что и к земле и к реке был приложен труд: земля расчищена, удобрена, снабжена дорогами и т. д. — история известная; да и сама река тоже расчищена, снабжена пристанями и т. д. — песня тоже известная. Но, принимая все такие замечания во всей их силе, мы все-таки спрашиваем, в одинаковой ли степени продукты труда — река и лодка, земля и пшеница? Если же не в одинаковой, то, значит, не одинакова должна быть и степень присвоения, которая вносится в предмет трудом.

Взглянем на дело с другой стороны. Присвоение происходит из труда. Кто же то лицо, которому присваивается предмет трудом, вложенным в предмет? Конечно, то лицо, которое трудилось над предметом. В некоторых случаях определить принадлежность предмета известному лицу кажется по этому правилу очень легко; например, взял человек кусок глины, никому не нужный, не обращавший на себя еще ничего труда, и сделал из него посуду или кирпич. Ничей труд кроме труда этого человека тут не участвовал, следовательно, ничье право не встречается тут с его правом на принадлежность продукта.

Гораздо многосложнее, но только многосложнее, а не проблематичнее, обыкновенные случаи производства очень многих предметов, когда материал проходит через руки целого ряда производителей. Рудокоп добыл руду; железоизготовитель превратил руду в железо; кузнец сделал из железа плуг; пахарь посредством этого плуга и других орудий размножил известное количество пшеницы, получив урожая в пять раз больше посева, на продукт всего этого ряда трудов каждый из трудящихся имеет долю права, соразмерную количеству его труда.

Но в этом же самом процессе может встретиться обстоятельство совершенно иного рода. Что если подойдет к рудокопу человек, учившийся механике, и объяснит ему выгоду изменить прежний процесс добывания руды. От этого разговора, не стоившего ученому никакого труда или по крайней мере никакого труда, прямо посвященного рудокопу, труд рудокопа пойдет вдвое успешнее. На каком же основании определить теперь расчет между рудокопом и ученым? Ученый нисколько не трудился для рудокопа, стало быть, не имеет права ни на малейшую долю из его продукта? Явная нелепость: как же не дать никакой доли из продукта человеку, благодаря которому продукт удвоился? — Хорошо, рассудим иначе: благодаря ученому, каждый пуд руды заменился двумя пудами; стало быть, из каждых двух пудов руды один должен принадлежать ученому? Опять явная нелепость. Каким же это образом или за ничтожную долю труда или без всякого труда над продуктом ученый будет получать из продукта такую же долю, какую получает рудокоп за употребление всех своих сил на добывание руды?

Точно такой же случай может повториться и в деле железно-заводчика и в деле хлебопашца. Принцип присвоения в господствующей теории не дает нормы для распределения продукта между человеком, совершенствующим производительные процессы, и человеком, который исполняет эти процессы.

Против этого могут возразить ссылкой на другой принцип распределения, принцип соперничества. Если ученый станет требовать за свое содействие слишком большую долю из продукта, его положение станет чрезмерно выгодно, множество людей устремится занять это положение, и взаимным соперничеством они понизят уровень своих требований, так что станет, наконец, предоставляться им ровно такая доля продукта, на какую имеют они основательное право. Если положить, что этот ответ удовлетворителен, все-таки мы уже видим, что принцип распределения по количеству труда оказался не обнимающим всех случаев и нуждающимся в пособии других принципов; следовательно, если когда и нам случится сказать, что основанием для распределения должен служить не один расчет количества труда, а нужно тут принимать в соображение и другие принципы, то мы уже не примем за серьезное возражение, когда нам возразят: принцип распределения по количеству труда совершенно достаточен. Он недостаточен и по господствующей теории, как она сама уже доказала нам; следовательно, вопрос идет не о том, нужны ли для распределения еще другие принципы в пособие принципу соразмерности с количеством труда, — нужны, это уже обнаружено, — а только о том, каковы эти другие принципы и в какой степени должно видоизменяться их влиянием действие принципа соразмерности доли из продукта с количеством труда, положенного на участие в производстве продукта.

Но об этих других принципах мы еще не говорим теперь и не скоро дойдем до них; теперь мы рассматриваем, распределение продукта по количеству употребленного на продукт труда.

До сих пор мы видели, что можно по крайней мере определить лица, которым должна принадлежать доля из продукта за их участие в труде над продуктом. Бывают случаи другого рода.

{Мы знаем, что по мальтусову закону, когда при размножении населения становится нужно возделывать землю второго сорта, то открывается возможность употребить на землю первого сорта прибавочное количество труда, от которой продукт этой земли возрастает. Но этот прибавочный труд на земле первого сорта и весь труд на земле второго сорта будет уже не так производителен, как первоначальное количество труда на земле первого сорта. От этого возникает стеснение, и для его устранения возникает забота о земледельческих улучшениях, которыми увеличится общая производительность земледельческого труда. Мы не о том говорим, будет или не будет выигрыш от усовершенствований покрывать собою проигрыш — *зачеркнуто* }.

В Англии существуют очень хорошие фабрики земледельческих орудий, благодаря которым продукта получается больше, чем получалось бы без них. Производители этих земледельческих орудий получают себе долю из земледельческого продукта. Но они ли одни должны получать долю из продукта за это усовершенствование? Развитию английского земледелия, открывшему возможность для существования таких фабрик, сильно помогло отменение хлебных законов. Отменению хлебных законов сильно содействовал Кобден<sup>28</sup>: не должен ли он получать некоторую долю из увеличившегося земледельческого продукта Англии? По *принципу* присвоения продукта трудившемуся, конечно, должен. Каким же образом будет выделяться ему доля из продукта? Конечно, она и не выделяется; но это бы еще ничего, что его право остается не удовлетворено. Мы доискались по крайней мере, что существует некоторое право у этого известного лица, называющегося Кобденом; хуже того другое обстоятельство: есть множество лиц, имеющих подобное ему право, но нельзя открыть, кто эти лица? Возможность успешного труда Кобдену и его товарищам доставлена трудами политико-экономов, приготовлявших английскую публику понимать Кобдена; трудами всяких вообще порядочных преподавателей, приготовлявших ее понимать этих политико-экономов; трудами всех вообще авторов порядочных серьезных книг, увеличивавших в английской публике расположение и способность заниматься дельными мыслями; трудами всех порядочных поэтов и беллетристов, пробуждавших в публике умственную жизнь, словом сказать, тысячи и десятки тысяч людей, имена которых никто и не связывает с именем Кобдена, оказываются помогавшими ему в его труде. Как вы их отберете из массы английского обще-



ства? Никто не отбирает их; но если бы все стали отыскивать их со всевозможным усердием для выдачи им надлежащей доли из той доли, которая не выдается и Кобдену, все-таки большая часть их осталась бы не отыскана. А если бы отыскиались они, как стали бы вы распределять между ними долю продукта, которая по вашему принципу ведь должна же принадлежать им?

{Разумеется, мы только для курьеза выставили и проследили этот отдельный факт. Разумеется, над его парадоксальностью может потешаться каждый, кто еще не догадался о всеобщем факте, который отражается и на этом, как и на всяком другом случае какого бы то ни было улучшения в каком бы то ни было производительном процессе — *зачеркнуто* }.

Прежде нам показалось, что есть случаи, в которых легко определить принадлежность предмета известному лицу или ряду известных лиц по принципу, нами разбираемому, а только бывают иные случаи другого рода, когда отыскать эти лица нелегко. А теперь — знаете ли, что выходит? — Выходит, что всегда только одного второго этого рода бывают случаи, что никогда ни в каком случае не отыщешь, кому же должен принадлежать продукт по разбираемому нами принципу. Ведь, разумеется, мы только так для примера взяли Кобдена с отменением хлебных законов, а та же самая история повторяется со всяким другим случаем улучшения в каком бы то ни было производительном процессе. Да и в одних ли случаях улучшения? Нет, во всех без разбора случаях производства. Дело в том, что все стороны жизни связаны, что результаты всякого хорошего дела в какой бы то ни было отрасли жизни — частной или общественной — отражаются и в экономической деятельности увеличением продукта, как отражаются во всех иных сферах жизни хорошими последствиями, соответственными характеру каждой из них. Вы порядочный отец, вы не оставили вашего сына болваном, позаботились, чтобы он не вышел негодяем, от этого экономический продукт страны наверное будет больше, чем когда бы вы были дурным отцом. Вы имеете привычку разговаривать с людьми, как следует благовоспитанному человеку, — не кричать, не ссориться без надобности, не расправляться своим судом; от этого опять экономический продукт страны увеличивается.

Так или не так? Если не так, то почему же вы говорите, что успешность экономического труда в стране бывает соразмерна степени ее просвещения, достоинству ее нравов и обычаев? А если так, то из чего же слагаются нравы страны, как не из отдельных поступков и привычек индивидуальных людей? А если так, то не должна ли приходиться на долю каждого за всякую хорошую привычку, за всякий порядочный <поступок> известная доля из продукта страны, как приходится каждому участвовавшему в произведении продукта?

Эта форма нашего рассуждения парадоксальна и отчасти

даже нелепа. Но что же делать, в такой форме приходится рассуждать по способу, предлагаемому господствующей теорией для определения доли продукта, на какую имеет право тот или другой человек. «Считай, насколько участвовал А, насколько участвовал В в производстве продукта, и соразмерно тому определяй его долю в продукте». Я вполне принимаю это и говорю: «считайте же все поступки каждого отдельного лица в целой стране и считайте их за всю его жизнь, потому что каждый из них участвовал в составлении того содействия успешности труда над каждым данным продуктом, без которого и не было бы этого продукта».

Вы видите, что способ удовлетворения основательному праву выбран тут неудобноисполнимый, проще говоря нелепый. Атлантический океан, дающий Англии возможность торговать с Америкой, измеряется и изучается не тем способом, чтобы стараться перечерпать весь его ушатами и сосчитать их. На это есть другой способ: океан изучается и измеряется в общей своей массе без этих смешных претензий мерить все посуду, пригодную лишь для какой-нибудь пивоварни.

Дело в том, что кроме труда отдельных лиц, прямо или косвенно работавших над производством известного частного продукта, производству этого частного продукта содействовала вся национальная жизнь целой страны. Эта пачка иголок произведена не одним Джонсоном с его работниками и людьми, помогавшими ему и его работникам в этом деле, она выработана всей национальной жизнью целой Англии. И в какой пропорции считать долю этого национального участия в каждом частном продукте частных лиц? Пропорция тут количества бесконечного к количеству конечному. Как хотите высоко цените труд отдельного человека, — его участие в продукте, над которым только он, повидимому, работал, бесконечно меньше того участия, какое принимало тут же всестороннее влияние всей национальной жизни. Она дала человеку и возможность вырасти и возможность стать способным к чему-нибудь, она приготовила ему и материал труда, и орудие для труда, и обстановку, нужную для труда, и технические знания, — все, решительно все. Если уже подводить счет отдельного лица с нацией, то ведь окажется, что и само это лицо — не больше как продукт своей нации; а ведь вы говорите, что производитель имеет не то что какое-нибудь ограниченное право на долю пользования продуктом, — нет, по-вашему, он имеет безграничное право собственности над продуктом. Может ли сказать горшок горшечнику: «Зачем ты сделал меня так и зачем ты поступаешь со мной так?» Тут нет никаких разговоров: отдельное лицо, что ты такое предо мной, нацией, создавшей тебя? Молчи и повинуйся, я безграничная повелительница твоя, я твоя собственница и собственница всего, что произвел или когда-нибудь можешь произвести ты.

Вот прямой вывод из принципа, что продукт безусловно должен принадлежать лицу, которому принадлежит труд над производством продукта. Если вы захотите подражать обыкновенной привычке приверженцев господствующей теории, во всем останавливающихся на половине пути, вы, подобно им, увидите в этом принципе только отрицание принадлежности продукта тем частным лицам, которые не трудились над производством продукта. С этой стороны принцип хорош, но и тут он неудовлетворителен. В нем нет нормы для распределения продукта между разными видами труда: он умеет только сосчитывать доли труда одного и того же рода, умеет только соразмерять доли работников, не способствовавших улучшению производства. Если же вы не имеете охоты урезывать смысл слов, вы найдете, что принцип безусловной принадлежности продукта труду скрывает в себе вывод, прямо противоположный обыкновенному мнению рутинных политико-экономов о значении этой идеи: принцип этот отрицает принадлежность продукта не только лицу, специально не участвовавшему в производстве, но и вообще отрицает принадлежность какого бы то ни было продукта какому бы то ни было индивидуальному лицу, в том числе и лицу, специально трудившемуся над производством. Права частных лиц по этому принципу сливаются и поглощаются в собирательном национальном праве. Начиная тем, что говорит «не трудившийся пусть не ест», принцип этот заканчивается словами: «да и трудившийся не имеет права есть».

Рутинные политико-экономы не очень сильны в логике и, конечно, не замечали, что оно выходит из их слов так. Но угодно ли видеть, что не только по нашему теоретическому анализу, а и на практике у них выходит действительно так? Извольте только припомнить, какие результаты выводят они сами относительно доли работника в продукте. Работник трудится над материалом, который произведен не его трудом; употребляет в работе орудия, произведенные также не его трудом; продовольствуется во время труда жилищем, одеждою, пищею и другими вещами, которые все произведены не его трудом; все эти участвовавшие в производстве продукта доли труда, принадлежащего не работнику, имеют право на долю из продукта, над производством которого трудится работник; сочтем их и сделаем раскладку. И вот, как считают и сделают раскладку, оно всегда и оказывается, что если хлебопашцу не достается есть белый хлеб, ткачу иметь порядочную одежду, то оно так и следует тому быть. Да, «трудящийся пусть не ест».

Как разобрать эту путаницу? И хорош принцип как будто, а вдруг выходит дурен; и прилагается он как будто легко ко всему, и вдруг ровно ни к чему не прилагается или ко всему прилагается с каким-то отрицательным знаком: что за диво такое!

Диво это может повторяться над бесчисленным множеством

всяких других подобных принципов, а подобие тут в чем будет состоять? Вот в чем. О чем вы говорите? О принадлежности продукта человеку. Стало быть, вы рассуждаете о человеке, не так ли? На каком же основании вы рассуждаете о том, как вам решить право или несправие этого человека? На основании труда. Что же такое труд? Разве это весь человек? Нет, это лишь одна из функций или одно из качеств, или одно из направлений жизни человека. Попробуйте же теперь судить о целом человеке в каком-нибудь деле только по одному из признаков или качеств человека, хотя бы самому ближайшему к этому делу, и у вас всегда выйдет такая же нескладница. Возьмите, например, учительство или профессорство, какой тут специальный характер? Разумеется, знание, ученость. Попробуйте же поставить теперь абсолютным принципом суждений о правах человека на профессорство обширность знаний, в иных случаях у вас выйдет как следует, а в иных случаях выйдет вздор. Ну что, например, если человек имеет и бог знает сколько фактических сведений, но глуп, — хороший ли выйдет из него профессор? и следует ли предпочитать его человеку посредственной учености, но умному. Ну, а разве не может учнейший человек быть косноязычен? Или возьмите другое дело, положим хоть ремесло носильщика. Что нужно носильщику? Нужна физическая сила. Вот и попробуйте судить по одному этому признаку о способности человека быть носильщиком. Разве не встречается, что человек здоровенный — 20 пудов, пожалуй, поднимет, — а одна нога у него деревянная, — какой же он носильщик? А вопрос о способности человека к ремеслу носильщика кажется уж очень прост.

Вы видите, какая вещь должна подразумеваться во всех подобных случаях: должно подразумеваться ни больше, ни меньше как маленькое выражение: *ceteris paribus* — «при равенстве» всех остальных условий или обстоятельств. Например, если по природным дарованиям, по способности к популярному изложению, по усердию к просимому званию и т. д. и т. д. два человека одинаково достойны быть профессорами, то достойнее из них тот, который учнее. Или: если по состоянию здоровья, по крепости ног и т. д. и т. д. два человека одинаково способны быть носильщиками, то способнее из них быть хорошим носильщиком тот, который имеет больше силы в поднятии тяжестей.

Правда ли, что такой способ рассуждения будет несколько порассудительнее, чем оценка прав человека в каком бы то ни было вопросе по одному признаку?

Если хотите, можно продолжать речь ученым тоном.

Во всех путных науках, — вот уж и сбились было мы с учебного тона, но поправимся: во всех науках, дошедших до состояния, сколько-нибудь рационального, давно брошен метод классификации предметов по одному признаку, какова бы ни была важность этого признака, и везде признана необходимость при-

нимать основанием для классификации совокупность всех признаков, подлежащих рассмотрению этой науки. {Например: очень важен тот признак, что млекопитающие ходят, а рыбы плавают, у млекопитающих есть ноги, а у рыб нет. Но ведь кит все-таки не причисляется к рыбам. Или, например, деревья отличаются от травы тем, что бывают гораздо — *зачеркнуто*}. Точно такую же необходимость надобно признать и в экономической науке.

{Один ли тот признак человека рассматривается в ней, что один человек работает, а другой не работает. Нет; она говорит о богатстве или бедности, техническом искусстве — *зачеркнуто*}.

Спросим же себя, что это за наука — политическая экономия? О чем говорит она? Разве об одном производительном труде? Нет, наука, исключительно занимающаяся производительным трудом, нисколько не похожа на политическую экономию, — эта наука называется технологиєю. Предмет политической экономии несравненно обширнее, она говорит об условиях материального благосостояния, насколько они связаны с трудом, или, пожалуй, хоть, по определению рутинных экономистов, — об условиях народного богатства. Производительный труд лишь один из тех элементов, сочетание которых служит предметом ей. Зачем же судить о своих делах по одному этому признаку, а не по совокупности всех признаков, находимых ею в ее предмете?

А если так, то не следует ли, что и по вопросу о принадлежности продукта человеку она должна основывать свое решение не исключительно на одном признаке, как бы ни был он важен, и не следует ли ей выражаться, например, так:

Если по остальным условиям два лица находятся к известному продукту в одинаковом отношении, то предмет должен принадлежать лицу, трудом которого произведен.

Рутинные политико-экономы, пожалуй, и готовы были бы согласиться на такое решение вопроса, и попались бы в западню: думали бы они, что остаются при таком решении последователями Адама Смита, а были бы между тем уже кругом опутаны социалистическими, коммунистическими и другими ужасными бреднями. Но это крайне огорчило бы нас: за что губить людей наивных, следовательно, невинных. И вот мы предупредим их: остерегайтесь; под формою, обещающей такой сходный с вашим консерватизм, решение, приведенное нами, скрывает яд, смертоносный для всей вашей теории. Змия с этим ядом — ничтожное словечко — если — «Если»! Да мало ли что может найтись в этом «если»! Например, что если окажется, что это «если» никогда не осуществится? Тогда ведь и вся теория принадлежности продукта и т. д. окажется не прилагающеюся ни к одному продукту.

Но шутки в сторону. Будем говорить опять серьезным и ученым тоном.

В науках, говорящих об устройстве человеческих дел, суще-

ствуется один высший коренной общий для всех них принцип. Этот принцип — благо человека. Что хорошо для человека, то хорошо. Что дурно для человека, то дурно, — кажется, это ясно и верно. В каждой частной науке принцип этот подвергается точнейшему определению, сообразно частному предмету частной науки. Например, педагогика — наука о воспитании; воспитание состоит в развитии физических, умственных и нравственных сил человека; вот и нетрудно догадаться, каков верховный принцип педагогики: «все, что хорошо для развития физических, умственных и нравственных сил человека, то хорошо». И каждый свой вопрос педагогика подводит под этот принцип. У политической экономии другой предмет — материальное благосостояние человека или, пожалуй, народное богатство. Каков же, судя по этому, должен быть коренной принцип ее? Разумеется, следующий: «хорошо все то, что хорошо для материального благосостояния человека» или, пожалуй, если вам нравится старинное определение, «для народного богатства».

### < Правительственное влияние, кн. V >

Подобно всем другим сторонам человеческой жизни, экономическая деятельность состоит из дел двоякого рода: в одних преобладает индивидуальный, в других общественный интерес и характер. Экономическая теория возникла при таких обстоятельствах, что дела первого рода совершенно заслоняли для ее основателей ту сторону хозяйственной деятельности, в которой общественные надобности преобладают над индивидуальными побуждениями. В половине XVIII века даже и Англия, не говоря уже о других знакомых Адаму Смиту странах, была связана средневековою регламентациею. Стеснительность этого порядка была так чувствительна, что не замечалось никаких других надобностей, кроме потребности избавить отдельного человека от затруднений, налагававшихся на него регламентацией. Теперь, когда значительная часть этой задачи исполнена, стало заметно, что нужны отдельному человеку для благосостояния и другие условия, кроме формального отстранения регламентации. Наши статьи писаны в направлении, выставляющем на вид эти другие условия. Но теория, излагаемая Миллем, была составлена без внимания к ним.

Однакоже и при всем невнимании к ним всегда был так осязателен один частный их случай, что даже и ими был он замечен. Это случай — существование власти, ограждающей экономическую деятельность от незаконного вмешательства частных лиц. Замечая необходимость правительства, Адам Смит и его последователи должны были определять потребную степень правительственного влияния на экономическую деятельность. Этим предметом занимается Милль в последней части своего трактата.

Мы назвали вопрос об экономической роли правительства только частным случаем более обширной сферы явлений, остальные случаи которой были оставлены без внимания основателями господствующей теории. В самом деле правительственная власть — только одна из форм общественного действия, некоторые другие формы его даже имеют тот главный признак, которым обыкновенно отличают правительственную власть от остальных случаев коллективного действия.

Этот главный признак — обязанность отдельного человека подчиняться правительственным распоряжениям, хотя бы он и не был согласен с ними, принудительное право правительства. Но, например, в акционерных обществах меньшинство также обязано повиноваться большинству, хотя бы совершенно не желало того. Вступление в акционерное общество точно так же может быть совершенно независимо от воли лица, как и подчинение правительству. Как человек делается подданным правительства по наследству от родителей, точно так же может переходить на него вместе с другим наследством и принадлежность к акционерному обществу. Говорят: но от воли его зависит выйти из этой принадлежности; он может продать свои акции, когда хочет. Так, но точно так же и правительство в цивилизованных странах не удерживает человека насильно в зависимости от себя: природный гражданин Франции, Англии может, когда ему угодно, переселиться в другую страну и сложить с себя права и обязанности француза или англичанина. Прежде было не так; но теперь принадлежность англичанина или француза к политическому составу его страны ничем существенным с юридической стороны не отличается от принадлежности к акционерному обществу.

Из этого мы видим, что правительственные отношения составляют только частный случай более общего понятия коллективных отношений. Видим также, что эта частная форма может изменяться до существенных одинаковостей с разными другими формами коллективных отношений.

Таким образом нам следовало бы начать с постановки общего вопроса о границах между индивидуальной и коллективной деятельностью в экономической сфере. Определив, какие дела или какая сторона каких дел принадлежит индивидуальной деятельности и какие дела и какая сторона их должна принадлежать к коллективной деятельности, мы потом должны были бы разбирать, какая частная форма коллективной деятельности наиболее удобна для того или другого дела, принадлежащего к коллективной деятельности вообще, и вопрос о правительственном действии был бы только одним из частных отделов этой второй половины исследования. Пока дело не будет изложено с такой широкой точки зрения, экономическая теория не может назваться полною. Но в настоящих статьях мы не имеем такой высокой цели: мы только пересматриваем содержание книги

Милля, высказывая свое мнение о тех вопросах, которыми занимается он, если нам кажется, что он говорит в них слишком односторонним образом. Тех вопросов, которых не касается он, не касаемся и мы. Так и здесь мы ограничимся только частным вопросом о правительственном влиянии на экономическую деятельность.

Прежде всего занимается Милль исследованием принципа, определяющего границы правительственного действия. Мы говорили, что господствующая теория возникла при обстоятельствах, заставивших придавать одностороннюю важность праву индивидуальной деятельности. Впоследствии времени оказалась надобность подумать и о коллективном действовании. В господствующей теории замечалась, как мы говорили, только одна его форма — правительственные действия. Поэтому спор между последователями прежней теории и защитниками новых потребностей очень часто относился только к правительственному влиянию. Реформаторы не умели иногда понять или объяснить своим противникам, что расширение коллективной деятельности в экономической сфере может относиться к другим формам этой деятельности, а не к той, которая существует ныне под именем правительственной. При таком недоразумении спор получал фальшивое направление, некоторые из реформаторов становились защитниками средневековой регламентации, а большинство приверженцев прежней теории стало определять границы правительственного действия слишком узким принципом. Такое положение спора изображает Милль в первых строках V кн. своего трактата.

(Здесь вставить боргесом № 1)

Если есть в таком узком понимании спорного вопроса сторона действительно верная, она состоит в той части спора, которая относится к степени возможного влияния законодательных мер на понятия и обычаи общества. Нельзя не согласиться с тем, что напрасно было бы издавать законы, в соблюдении которых никто не находит надобности. Знаменитейшим примером тому служат римские законы против безбрачной жизни и против роскоши. Они издавались для общества, в котором не было действительного стремления к умеренной трудовой жизни и к тихому довольству семейным бытом. Они были издаваемы, так сказать, только для формы, только в угодность старинным преданиям, над которыми каждый смеялся, и старинным обычаям, которые каждому казались неудобными. Но совершенно иное дело те случаи, когда общество не расположено требовать известной реформы только потому, что не имело возможности испытать отношений, в которые поставит его реформа: быть может, они с первого раза окажутся так удобны для него, что оно с охотою займется осуществлением закона. Примером могут служить меры для просвещения тех частей общества, которые



по своему совершенному отчуждению от цивилизованной жизни не выражали горячей потребности просвещаться. Правительство не обязано отлагать учреждения школы в каком-нибудь селе до той поры, пока общественное мнение жителей этого села потребует учреждения школы. Или другой пример. Нравы некоторых классов могут быть до того грубы, а их понятия низки, что классы эти могут не находить ничего вредного в телесном наказании. Обязано ли правительство отлагать уничтожение телесного наказания для известного класса до той поры, пока мнение этого класса потребует такой реформы? Много подобных случаев представляется и в экономической сфере. Укажем два из них, относящиеся к нашему быту. По дороговизне железа установились между нашими поселянами такие понятия о характере земледельческих орудий и принадлежностей, что нет в поселянах мнения о надобности удешевить железо для замены нынешних деревянных земледельческих орудий или их частей железными. Неужели правительство поступит неосновательно, если будет принимать меры для того, чтобы доходило до наших сел дешевое железо? И неужели наши поселяне не воспользуются возможностью приобретать железные орудия вместо деревянных? Долгое господство известных отношений заставило нашего простолюдина забыть о всех других напитках, кроме хлебного вина; неужели правительство поступило бы неосновательно, если бы дало простолюдину возможность выбирать между водкою, пивом и виноградным вином? Конечно, такая реформа была бы согласна с экономической теориею, хотя общественное мнение простолюдина еще и не требует ее.

Требование известных законодательных мер со стороны общественного мнения очень важно в том смысле, что служит ручательством за успешное их осуществление. Но не от одного этого элемента зависит их успешность. Успех имеет все, что удовлетворяет потребностям. Если известная потребность только еще начинает развиваться в обществе, она может еще и не занимать собою общественного мнения. Но она уже может быть ясна для умов особенно проницательных. Если случится, что такие умы участвуют в правительстве или имеют на него влияние, общество, конечно, управляется лучше, чем при противоположном условии. А нельзя требовать ни от кого, чтобы он действовал против собственного убеждения и не заботился о вещах, кажущихся ему полезными для общества. Нельзя требовать или ожидать этого и от правительства. Следовательно, дело не в том, чтобы правительство только шло позади общественного мнения, а в том, чтобы оно действовало благоразумным и полезным для общества образом. Если оно когда-нибудь по благоприятному случаю становится впереди общественного мнения, тем лучше для общества.

Но то правда, что благоразумие не позволяет никому слиш-

ком далеко опережать своими действиями степень развития лиц, для которых предпринимаются действия. Этому условию подлежат и законодательные меры. {Очень может быть, что введение суда присяжных<sup>29</sup> было бы {неудобно — *зачеркнуто*} неблагоприятно — *зачеркнуто*}. Зато надобно сказать, что шанс слишком далекой отсталости общества от правительства неправдоподобен, потому что самый состав правительства происходит из того же общества, в котором оно действует (кроме ненормальных случаев иноземного господства, вообще не одобряемых экономическою теориею). Гораздо чаще встречается другой случай: законодательная мера остается безуспешна не потому, чтобы далеко собою опережала потребности общества, а только потому, что, провозглашая известную цель, не предлагает потребных способов к ее достижению или забывает об устранении фактов, препятствующих тому. Очень часто закон ограничивается установлением наказаний за свои нарушения, между тем как нужно кроме этого устроить обстановку, нужную для его исполнения. В пример можно указать на законы против контрабанды при пошлинах очень высоких. Одних наказаний мало для прекращения контрабанды. Нужно также, чтобы не было у людей слишком сильного побуждения заниматься ею, и, чтобы уничтожилось оно, надобно бывает понизить пошлины. Поэтому, если мы видим безуспешность правительственных работ о прекращении контрабанды, надобно бывает говорить не о том, что правительство выходит из круга своих обязанностей или прав, и не о том, что общество не сочувствует ему, или что оно слишком опередило своими мерами развитие общественных потребностей или общественного мнения, — надобно говорить только о том, что оно еще не успело привести другие свои действия в соответствие с своею заботою о прекращении контрабанды, только о том, что оно действует непоследовательно.

Вот в этом обстоятельстве и заключается истинная причина безуспешности законодательных мер, которая порождает мнение, будто бы нельзя вести общество вперед законодательными мерами, будто успешны они могут быть лишь тогда, когда принимаются лишь вследствие продолжительных требований со стороны общественного мнения, т. к. принимаются очень поздно. Само собою разумеется, что каждый, желающий успеха своему делу, должен разяснять его полезность и что для этого необходима возможность спора, без которого ничто не разясняется. Чтобы какое-нибудь общественное дело шло успешно, на него должно быть обращено внимание общества, которое возбуждается не иначе, как спорами. Мы говорим вовсе не о том, что может быть исполнено в обществе что-нибудь важное без участия общества, а только о том, что нет необходимости дожидаться долгих принуждений, а напротив, чем раньше появляется забота о полезном деле, тем лучше.

В таком виде надобно, по нашему мнению, ставить вопрос о правительственном влиянии на общественную жизнь. Но мы говорили, что он часто понимался односторонним образом вследствие той ошибки, что правительственная форма действия представлялась единственною формою коллективного действия, так что некоторые реформаторы думали действовать исключительно правительственным путем, а приверженцы господствующей теории усиливались для предотвращения реформенных попыток доказывать, что правительственное действие должно ограничиваться очень тесным кругом. Этим усилием консервативных политико-экономов была порождена теория, утверждающая, что правительство совершенно не должно вмешиваться в экономические дела общества. Такой взгляд основывается на предположении, что вся роль правительства должна исключительно состоять в предотвращении насилия частных лиц друг против друга {или в охранении от преступ — *зачеркнуто*}. Но по очевидной недостаточности такого обвинения присоединено было к нему другое понятие, довольно натянутым образом: обман или подлог должен считаться также насилием особого рода, потому правительство должно охранять граждан и от обмана со стороны злонамеренных людей. Эта теория преобладает в мыслях консервативных политико-экономов; Милль очень хорошо доказывает ее неудовлетворительность. Он начинает тем, что

*(На этом рукопись обрывается)*

Пятую и последнюю книгу трактата Милля составляет исследование вопросов об участии правительства в экономической жизни общества. Каким образом проистекает такая программа пятой книги из четырех первых, Милль не говорит. Первые три книги излагают три момента, проходимые экономическим продуктом, четвертая обзрывает историю экономической жизни, — связь тут ясна, — но в какой связи с общими элементами экономической жизни находится частный вопрос о правительственном влиянии на нее? Нам кажется, что если бы Милль вздумал разъяснить для себя надобность, заставившую его так подробно излагать этот предмет, он пришел бы к воззрению, при котором изменилось бы у него изложение общих понятий о предмете, частные случаи которого составляют содержание пятой его книги.

Почему нельзя оставить без разбора участие правительства в экономической жизни? Оно очень важно. Так; но очень важное влияние на нее имеют и некоторые другие элементы общественного быта. Например, характер религии несомненно дает довольно сильное направление экономической деятельности в ту или другую сторону деятельности, развивает или расслабляет ее.

Так исповедания, предписывающие значительное число постных дней, конечно, способствуют развитию известных отраслей земледелия и уменьшают надобность в развитии некоторых отраслей скотоводства. Еще значительнее экономическая разница между религиею, ставящей в главную заслугу человеку усердие к работе (какова, например, религия Зороастра<sup>30</sup>), и религиями, ставящими выше всего созерцательную жизнь (как, например, буддизм). Еще гораздо осязательнее влияние государственного устройства. Милль, подобно другим политико-экономам, разбирает лишь одну форму политического быта, ту, при которой существует невольничество, но очень многое зависит и от того, существует ли в обществе юридическое различие сословий, какие формы имеет законодательная власть и администрация.

Почему же Милль не считает нужным подробно разбирать влияние разных религиозных и политических форм, а говорит только о влиянии правительства, составляющем один частный случай из множества других влияний? Причина та, что другие влияния действуют на экономическую жизнь лишь косвенным образом, через развитие тех или других наклонностей в человеке, а правительство прямо является экономическим деятелем, производящим известные продукты. А если так, то, по нашему мнению, следовало бы начать с действительного начала и прежде, чем рассматривать отдельные вопросы о правительственном влиянии, надобно было бы сделать общее замечание о разных формах человеческой деятельности, бывающих производительными силами. При этом тотчас же открылась бы важность разницы между личными потребностями отдельного человека, удовлетворением которых не открывается прямая возможность такого же удовлетворения другим людям, и между потребностями, которые надобно назвать собирательными, общими или общественными и которые удовлетворяются с удобством не иначе, как у целого круга людей вдруг.

Странно было бы ожидать, чтобы кто-нибудь посторонний хорошо заботился об удовлетворении исключительных потребностей отдельного человека. Чувство голода или сытости чувствуется лишь самим отдельным человеком, и никто другой не может хлопотать по этому предмету удовлетворительным для него образом. Вся политическая экономия построена на принципе: «Каждое дело удовлетворительно ведется только тем лицом, которому нужно, и только в том направлении, в каком ему полезно». Но если так, каков же может быть единственный удовлетворительный способ ведения дел по коллективным потребностям? Если известное дело нужно для целого округа, то может ли удовлетворительно вести его отдельное лицо? По принципу, нами принимаемому от политико-экономов господствующей школы, дело это будет исполняться отдельным лицом лишь настолько, насколько ему нужно, и лишь в том направле-

нии, в каком для него полезно. Будет ли такое ведение соответствовать надобностям жителей округа? Это как случится. Может быть — будет, может быть — нет, смотря по тому, находится ли в интересе отдельного лица все, находящееся в интересе округа, и не находится ли в интересе этого лица что-нибудь иное, чем в интересе округа. Кто захочет подумать о свойстве всяких житейских отношений, увидит, что очень велик, почти неизбежен тут шанс большего или меньшего несоответствия частного интереса с общественным. Ведь каждый из нас знает, что нет на свете двух людей с совершенно одинаковыми понятиями или желаниями; еще ненатуральнее было бы совершенное тождество понятий и желаний между отдельным человеком и населением целой местности. Интерес округа есть, так сказать, средняя цифра, выходящая из сочетания множества отдельных цифр; а мы знаем, что между этими частными цифрами слишком немногие совершенно одинаковы с средней: почти всегда каждая из них больше или меньше отступает от нее. Значит, что же нужно для ведения какого-нибудь общего дела соответствующим общим интересам способом! Нужно, чтобы способ его ведения определялся волею всего общества, которому оно нужно, и чтобы отдельное лицо при исполнении этого дела находилось под общественным контролем, который состоит в трех вещах. Во-первых, общий интерес всех прикосновенных к делу лиц должен определять, нужно ли для них дело, во-вторых, он же должен определять, в каком виде нужно исполнять дело, он должен следить за ходом его исполнения. Но по принципу, также принимаемому всеми писателями господствующей школы, расходы предприятия должны лежать на том, в чью пользу ведется предприятие. Из этого следует, что дела, предпринимаемые для общественного интереса, должны вестись на общественный счет. По другому принципу, также принимаемому всеми писателями господствующей школы, продукт дела должен принадлежать тому, на чей счет оно ведется. Следовательно, предметы, относящиеся к общественным надобностям и долженствующие поэтому производиться на общественный счет, должны быть собственностью общества.

Кому из последователей господствующей политико-экономической теории угодно, тот может называть эти заключения несомнительными или вредоносными, но всякий беспристрастный человек видит, что они прямо вытекают из принципов, принимаемых господствующею теориею. Она же сама выставляет на вид и тот факт, что соразмерно развитию просвещения и прогрессу экономического быта все усиливается число дел, в которых замешан общественный интерес, и все уменьшается число случаев, в которых тот или другой способ действий отдельного человека был бы безразличен для общества. Чтобы пояснить перемену, происходящую в этом отношении, возьмем в пример

опрятность. Пока нет больших городов с тесною постройкою, никому постороннему нет вреда, если известный человек не заботится о чистоте своего жилища. Но когда жилища сближаются, грязное жилище одного заражает воздух и у соседей. Точно так же во всем другом. Увеличивающаяся близость сношений между людьми производит, что жизнь одного отражается удобством или неудобством на жизни других и в таких вещах, по которым прежде не существовало взаимного влияния. Но еще гораздо больше, чем от перемены отношений, изменяются выводы от перемены размера наших сведений о взаимном влиянии жизни одного на жизнь всех. Пока наука не успела овладеть известным кругом фактов, они представляются разрозненными и случайными, но при более точном разборе оказывается между ними связь. Теперь общество уже достигает того убеждения, что нет ни одного факта в жизни отдельного человека, который оставался бы без всякого влияния на ход общественной жизни, — не содействовал бы или не мешал бы общественному благосостоянию. Например. Каждый невежественный, безнравственный или ленивый человек, кроме того что сам ведет жизнь, сообразную своим недостаткам, служит препятствием улучшению общественной жизни. В юриспруденции уже давно установился тот принцип, что преступление, совершенное над отдельным лицом, не есть преступление только перед лицом, прямо от него пострадавшим, но и перед целым обществом. На этом основывается принятое всеми законодательствами правило, что в известных случаях отказ пострадавшего лица от преследований преступника не останавливает уголовного процесса и не отстраняет наказания. Прежде смотрели на эти вещи иначе. Если, например, убийца успевал примириться с родственниками убитого, или вор получал прощение от обокраденного, общество оставляло его поступок безнаказанно.

Подобная перемена происходит и во взгляде на экономические дела. Например. Нет никакого сомнения, что если в известной мастерской работа идет небрежно и лениво, то страдает не одна эта мастерская, а до известной степени понижается ее влиянием успешность труда и в целом городе; и наоборот, если увеличивается искусство и усердие работы в одном промышленном заведении, оно действует в известной степени на улучшение работы в целом городе. Пример одного работника влечет других к дурному или хорошему; привычки одного действуют на других.

Таким образом мы доходим до понятия, что нет в экономической жизни ни одного факта, который следовало бы считать исключительным фактом индивидуальной жизни, который был бы совершенно безразличен для общества, в котором общество нисколько не было бы заинтересовано. А сама господствующая теория говорит, что где замешан чей интерес, там должна быть и степень влияния, соразмерная интересу. Следовательно, по

господствующей теории должно оказываться, что по принципу нет ни одного экономического дела, которое не должно было бы находиться под большею или меньшею властью общества.

Конечно, все тут, как и во всей экономической жизни, зависит от расчета выгоды. Найдется бесчисленное множество дел, в которых доля общественной заинтересованности чрезвычайно мала сравнительно с долей личного интереса; найдется также множество случаев, в которых обществу выгоднее не пользоваться своим правом влияния; наконец, общество не нашло физической возможности заниматься всеми делами, над которыми, по принципу, имеет оно известную долю власти. Мы вовсе не то говорим, что возможно или полезно такое состояние общества, в котором никакое дело не происходило бы без прямого вмешательства общества. Напротив, экономический расчет и в этом отношении внушает обществу, как внушает всякому человеку, или всякой группе людей во всяких отношениях, не заниматься тем, что не стоит хлопот, и не пользоваться своим правом в тех случаях, когда пользование правом было бы невыгодно. Но расчет об удобстве или выгоде оставлять без общественного вмешательства все те дела, которые могут обойтись без него, нимало не противоречит принципу, что все тут зависит от мнения самого общества о своей выгоде. Вопрос о границах, предписываемых благоразумием, совершенно различен от вопроса о границах абстрактного права. Например. Человек, у которого на руках нет семейства, имеет полное право не принимать предосторожностей для сохранения своего здоровья; благоразумно ли ему пользоваться таким правом — рисковать своим здоровьем, в том или другом случае, — совершенно иное дело; в бесчисленном множестве случаев это было бы неблагоразумно, и сравнительно с этою массою не велико число случаев, в которых риск допускается или даже предписывается рассудком. Точно так же может быть невелико и число дел, в которые благоразумно обществу вмешиваться, хотя оно имеет право вмешиваться во все дела. Теперь мы говорим только об отвлеченном праве, оставляя до следующих страниц показание границ, полагаемых ему выгодою самого общества при различных общественных состояниях.

А в смысле отвлеченного права власть общества над отдельным человеком чрезвычайно обширна по принципам, принимаемым господствующею теориею. По этой теории лицо или собрание лиц имеет безусловное право располагать тем, что само приобрело. Если оно передает приобретенное им в пользование или в собственность другого лица, оно делает это по своему усмотрению и всегда может поступить иначе. Получающее лицо тут не имеет права на получение. Например, если известный человек приобрел своими усилиями какой-нибудь продукт, он может не давать никакому другому лицу пользование этим продуктом.

Свой хлеб он может держать под замком, сколько ему угодно; может, если захочет, потопить или сжечь этот хлеб. Точно такое же право распространяется и на нравственные или умственные приобретения. Если, например, человек приобрел житейскую опытность, он вправе не помогать никому своими советами; если он приобрел известные знания, он может никому не сообщать их. Конечно, то же самое право принадлежит и собранию лиц: если в отдельности каждый член собрания имеет известное право, то все собрание не может не иметь такого же права. Через соединение прав права, конечно, не уменьшаются. Посмотрим же, как определяется отвлеченная граница власти общества над отдельным лицом по этому принципу господствующей теории.

Часть жизни отдельного человека состоит в действии сил, ему самому принадлежащих. Это так называемые личные свойства человека: известный характер, известные мысли. Довольно многосложен вопрос о том, в какой степени составляют они его личное приобретение. Без известной обстановки, даваемой обществом, человек не имел бы ни того характера, ни тех понятий, какие имеет. Собственно говоря, в независимости от общества, внутренними силами самого человека приобретает только анатомическая и физиологическая сторона его существа. Во всех остальных личных своих свойствах он уже чрезвычайно много зависит от общественного влияния. Но все-таки и участие его личных сил тут очень значительно. Потому мы с первого же взгляда должны признать, что она тут имеет очень тесные границы, поставляемые очень значительным, независимым от него участием самого человека в приобретении этих принадлежностей.

Но совершенно иное дело все те принадлежности отдельного человека, которые не сливаются с самым его организмом, не составляют физиологической части его: все внешние продукты и вообще всякие могущие принадлежать ему внешние предметы. В состоянии совершенно разрозненной дикости человек приобретает их действительно только сам, независимо от общества, — но только потому, что еще нет и самого общества. А в быте сколько-нибудь развитом содействие общества подобному приобретению несоизмеримо значительнее личных усилий самого человека. Начать с того, что самая возможность приобрести какое-нибудь имущество дается отдельному человеку только заботою общества о его охранении. Точно так же только этою заботою общества и сохраняется приобретенное имущество в собственности или пользовании отдельного человека. Имеет ли право отдельный человек отказаться от сношений с другим человеком? Если имеет, тем более имеет такое же право целое общество. Но достаточно было бы одного нежелания общества сохранять связь с известным человеком, чтобы лишился он всякой возможности приобретать или сохранять имущество. Таким



образом он с этой стороны находится в безграничной зависимости от общества. Общественная защита безусловно необходима ему, и общество, оказывая ему эту услугу, может полагать, какие хочет, условия для ее оказывания. {Это договор, в котором одна сторона, договаривающаяся — зачеркнуто}. И это не одна теория, это — повсеместный факт. Известно, например, что за пользование своею защитою общество требует от отдельного лица известной доли его приобретений в виде налогов. Имеет ли отдельное лицо возможность отказывать обществу в этой уплате? А величина налога определяется волею общества. Если налог составляет только десять процентов, это потому, что общество не захотело определить его в двадцать; а если бы захотело, могло бы увеличить его и до тридцати процентов, и до пятидесяти и более. Таким образом право установления налогов, признаваемое всеми за обществом, простирается до того, что может почти равняться конфискации, не переставая быть только установлением налога, т. е. бесспорным правом общества.

Но необходимость общественной защиты для отдельного лица не единственный источник права общественной власти над имуществом лица. Общество содействует приобретению и сохранению внешних предметов не одною своею защитою, а также и положительным пособием. Вся обстановка для труда, производящего или сохраняющего внешний предмет, создана обществом, и отдельный человек своими личными усилиями не мог бы создать ни одной тысячной доли того, что нужно ему для занятия, приобретающего или сохраняющего предмет. Возьмем самый крайний случай наименьшего содействия общественной обстановки труду отдельного человека, — труд поселенца на «далеком западе» Североамериканских Штатов. Этот человек сам расчистил свое поле, бывшее до того частью совершенно девственной пустыни; сам без всякого постороннего содействия построил свое жилище и так далее, и так далее. Но разберите дело повнимательнее, и вы увидите, что все его труды не имели бы и тысячной доли результата, какой имеют, если бы он не пользовался при них пособием общества. Начать с того, что он принес с собою топор, плуг и семена для посева. Ни одного из этих предметов не мог бы он произвести своими личными усилиями. Хлебные семена составляют результат труда целого ряда поколений над выбором и улучшением диких растений. Кто не взял их с собою уже готовых, тот никогда не добьется хлебной жатвы. В топоре и плуге важно с этой стороны не столько то, что они, плуг и топор, орудия, сделанные для известного употребления, сколько самый материал этих орудий. Положим, мог бы этот человек научиться сам кузнечному искусству; но откуда он добыл бы железо, если бы оно не приобреталось для него обществом? Силы отдельного человека недостаточны для получения железа. Оно добывается только обществом. Точно

так возьмите вы результат какого хотите труда отдельного человека, вы найдете, что неизмеримо велико пособие, оказанное ему обществом.

Смотрите же, до какого заключения довел нас принцип, принимаемый господствующею теориею. Доля участия отдельного человека в получении продукта, добываемого трудом этого человека, совершенно ничтожна сравнительно с участием общества в этом труде. А право на продукт соразмерно участию его в приобретении. Потому право отдельного человека на продукт его труда совершенно ничтожно сравнительно с правом общества на этот продукт. С этой точки зрения, приготовленной для нас господствующими теориями, наш поселенец дальнего запада Северной Америки имеет право лишь на одно зерно из нескольких возов возделанного им хлеба. За исключением этого зерна всю остальную жатву может по праву присвоить себе общество.

Таково право общества на внешние предметы: оно безгранично сравнительно с правом отдельного лица. Но мы оставляем без рассмотрения степень общественного права на личные свойства человека. Нам показалось, на первый взгляд, что в этой сфере оно должно иметь довольно тесные границы. Теперь, получивши опытность в делании выводов из принципов господствующей теории, мы предвидим, что и эти границы разрушаются. Учитель имеет бесспорное право получать вознаграждение от ученика. Но все понятия и знания отдельного человека приобретены только благодаря общественной обстановке. Лишенный всякого ее содействия, человек остается дикарем, более похожим на животное, чем на человека. Из этого следует, что каждый отдельный человек должник общества за свое умственное развитие. Если же мы перейдем к техническим искусствам и применим сюда принцип о принадлежности результата лицу или собранию лиц, создавшему этот результат, мы увидим, что все находящиеся в отдельном человеке производительные знания принадлежат обществу, вложившему их в него. Наконец не должен ли принадлежать обществу и самый организм отдельного человека, который вырос и сохранился только благодаря общественному охранению? Мы видим, что если ставить верховным принципом в вопрос  $\langle e \rangle$  об общественной власти правило господствующей теории о принадлежности результата лицу или собранию лиц, создавшему результат, это правило приведет нас к выводу, прямо противоположному тем понятиям, которых держится господствующая теория. Рутинные политико-экономы воображают, что на этом правиле опирается система общественного невмешательства в частные дела; на самом же деле оно ведет к провозглашению безграничной власти общества не только над имуществом, но и над самою личностью отдельного человека. Если решать вопрос о правах лица на внешние предметы и даже на свободу распоряжения своими личными силами по

происхождению этих предметов и сил, все исчезает перед поглощающим правом общества.

Но принцип, выводы из которого мы изложили, не может сохранить за собою права считаться верховною нормою устройства человеческих отношений. Господствующая теория забывает, что сама она показывает другую, высшую и более общую норму экономической жизни, — заботу человека об удовлетворении своих потребностей или расчет экономической выгоды. Если мы будем твердо держаться этого основного начала, лежащего в природе человека, мы должны будем считать все другие правила экономического быта только частными способами применения этой основной идеи к различным обстоятельствам. Очень часто бывает, что человек и общество получают наиболее пользы, когда отдельный человек работает исключительно в свою пользу; в таких случаях принцип человеческой пользы является нам под формою правила: определяйте принадлежность продукта по его происхождению. Эти случаи чрезвычайно часты; но ошибка господствующей теории в том, что она приняла их за единственно возможное. Да и в них, как мы видели, нельзя проводить правила о принадлежности продукта по происхождению с полною строгостию. Исследование по происхождению должно останавливаться тут на первом ближайшем деятеле, оставлять без внимания зависимость его продукта от всей совокупности деятелей, предшествующих прямому деятелю и окружающих его. Они должны отказываться от своей доли в происхождении продукта, — доли несравненно большей, чем доля прямого деятеля. Но бывают другие случаи, в которых недостаточно и этого ограничения правила о принадлежности продукта по происхождению; иногда полезно бывает человеку и обществу прямо руководиться расчетом пользы без этого посредствующего звена. Возьмем в пример принимаемый всеми случай необходимости содержать людей, не способных к работе по старости, болезни или разным органическим недостаткам; тут принцип принадлежности по происхождению прямо устраняется расчетом пользы. Ни для кого не было бы выгодно такое состояние общества, в котором слишком многие люди не имели бы средств к существованию. От этого общество подверглось бы беспорядкам, и энергия труда в нем упала бы. Выгода прямого производителя требует, чтобы известная часть продукта не поступала в принадлежность ему, а шла в руки других лиц для предотвращения такого невыгодного ему самому состояния.

Впрочем, и посредством всеобщего приложения мысли о принадлежности продукта производителю мы дойдем до вывода, согласного с здравым смыслом, если будем помнить, что во всех человеческих делах расчет пользы должен служить верховною нормою. Мы видели, что в вопросе о принадлежности продукта встречаются между собою два противоположные права: право от-

дельного человека, непосредственно работавшего над продуктом, и право общества, имевшего в производстве продукта косвенное, но несравненно большее участие. Очевидно, что продукт должен быть разделен между этими двумя участниками его производства. Но в какой пропорции он должен делиться между ними? Мы видели, что если основанием раздела принять участие в производстве, доля отдельного лица, прямо работавшего над продуктом, оказывается чрезвычайно мала, а доля общества поглощает почти весь продукт за исключением самой незначительной части. Но сообразна ли такая пропорция с выгодами самого общества? Если бы оказалось, что она не сообразна, принцип расчета пользы обязывал бы общество отказываться от такой доли своей части, какая должна быть предоставляема отдельному лицу для достижения наибольшей общественной выгоды. Тут все зависит от частных свойств того или другого существующего экономического быта. При известном состоянии экономических отношений, чем меньше может брать общество из продукта, тем выгоднее для общего благосостояния. Это вообще надобно сказать о формах быта, в которых общественное внимание не обращено на содействие экономическому прогрессу, а поглощается делами, составляющими безвозвратную трату средств. Наоборот, могут быть также формы быта, в которых и очень значительный вычет из продукта на общественные дела нисколько не вредит энергии труда, а, напротив, содействует ее возвышению. Это будет в том случае, если отдельный человек сам видит, что личное распоряжение взимаемого от него частью продукта не принесло бы ему самому столько выгоды, сколько получает он от употребления этой части на дела, полезные всему обществу, в том числе и лично ему. Бесспорным примером тому при нынешнем устройстве могут служить значительные расходы Англии на содержание военного флота. Каждый англичанин видит, что этот флот приносит ему очень значительную пользу, охраняя морскую торговлю Англии; видит также, что поставить ее в такую безопасность никак не могли бы усилия частных лиц, даже и с гораздо большими пожертвованиями; он видит, что полезное для него дело ведется наиболее экономическим способом, посредством взимания известной части из его доходов, и потому нисколько не претендует на этот вычет, требуя только, чтобы собираемая сумма употреблялась расчетливо. Если же с охотою подчиняется отдельный человек вычету для такой отрицательной пользы делу, выгода которого доходит до него только отдаленным путем через удешевление товара, — если возможно человеку дойти до сознания пользы окончательного результата жертвований в таком многосложном процессе, то гораздо легче убедится он в пользе предоставления известной части продукта общественному распоряжению, когда часть эта будет обращаться на дела, гораздо прямее касающиеся его и

приносящие ему не отрицательную, а положительную выгоду. Что, например, если бы общество убедилось, что некоторая часть налогов обращается на застрахование человека от крайней нужды в случаях болезни или разорения? Конечно, при существующем экономическом быте очень трудно дойти до такого убеждения, если бы и действительно обращены были некоторые суммы на этот предмет. Явилась бы мысль, что такого же результата можно достигнуть не установлением особенного налога, а сбережением в обыкновенных расходах на другие предметы. Явилась бы и другая мысль: вместо того, чтобы употреблять специальные средства для пособия мне, когда я дойду до нужды, позаботьтесь лучше о том, чтобы не доводить меня до нужды чрезмерными расходами на бесполезные предметы. Оба эти раздражения очень натуральны при существующем порядке. Но если предположить порядок, при котором не было бы этих лишних расходов на бесполезные предметы, дело имело бы совершенно, иной вид. Мы даже имеем и при существующем порядке примеры мнения, о котором говорим. Дело очевидно для всякого, что если общество употребляет часть своих средств на выдачу пенсий, то остается у него меньше средств на жалованье. Пенсия во всяком случае есть уменьшение жалованья, все равно, существует ли или не существует формальным образом вычет из жалования для составления пенсии. Но мы не замечаем, чтобы кто-нибудь из лиц, находящихся на общественной службе, тяготился существованием пенсий: напротив, оно считается ими за обстоятельство выгодное для них, и они совершенно чужды желания, чтобы пенсия уничтожалась. Все это мы говорим только к тому, что могут существовать очень различные обстоятельства: при одних каждый вычет из продукта на общественные дела может представляться отдельному лицу обременением, при других оно само может видеть в нем источник облегчения и пользы для себя. Все тут зависит от двух вещей: во-первых, от того, какие дела признаются в известном обществе подлежащими общественному заведыванию; во-вторых, какое мнение будет существовать у людей о степени расчетливости в общественном ведении дел этих.

Что касается первого вопроса, то при нынешнем умственном развитии просвещенной части цивилизованных обществ не будет чрезмерною идеализациею, если мы предположим возможность следующего взгляда на вещи: благосостояние общества уменьшается существованием невежественных, безнравственных или ленивых людей в обществе; эти вредные качества в людях могут быть устранены только двумя способами: заботою о том, чтобы каждый человек получал надлежащее воспитание, и обеспечением человека от нужды. Достаточны или недостаточны средства известного общества для полного достижения таких целей, об этом каждый может думать, как ему угодно;

но против того никто не может спорить, что выгода общества требует всевозможных усилий для наилучшего возможного достижения этих целей. А мы знаем из господствующей теории, что ведение дела должно принадлежать тому, кто в нем заинтересован. Следовательно, общество может ставить своим делом заботу о том, чтобы ни один из его членов не остался без воспитания и без правильных средств к жизни. Если относительно некоторых людей оно убеждено, что и без его вмешательства они обеспечены от вредного для него недостатка с этих сторон, оно может оставлять их дела без своего вмешательства. Но мы видим, что без его вмешательства масса людей вовсе не обеспечена с этих двух сторон. Следовательно, его вмешательство тут равнозначительно пренебрежению его к собственной выгоде.

Тут мы встречаемся с двумя рутинными возражениями: вы хотите стеснения личной свободы; ваша теория — опекунство, ведет к ослаблению энергии индивидуальных усилий.

*(На этом рукопись обрывается)*

## ПОДСТРОЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ МИЛЛЯ

<24> Относительно всех даже и второстепенных подробностей результата, который должен осуществиться еще в более или менее отдаленном будущем, надобно иметь особенный темперамент, которым природа не всякого наделяет. Есть люди, неспособные по природе безусловно принимать никакое готовое мнение, а склонные все переделывать на свой лад; есть люди, расположенные думать, что подробностей будущего нельзя предусмотреть, а можно предугадывать только его общий характер; наконец есть люди, расположенные пренебрегать отдаленными идеалами, обращать все внимание лишь на ближайшее, непосредственно возможное. Такие люди уже по природе своей не могут сделаться фурьеристами в точном смысле слова; а сумма людей таких темпераментов гораздо больше числа людей, в которых соединяются условия, при которых только и возможно стать последователем Фурье: сочетание скептицизма с доверчивостью, практичности с идеальностью {проницаемости, уступчивости с — *зачеркнуто*}. Потому выше мы сказали, что фурьеристы составляют лишь один отдел в числе социалистов, сходящихся с ними во всем существенном.

Кроме этой, основанной на различии натур, разницы между фурьеристами и массою социалистов, есть другая разница, основанная на ходе времени. Фурье создал свою систему лет 50 тому назад; его школа окончательно установилась лет 20 тому назад. А общий ход исторических явлений состоит в том, что основные мотивы движения выступают по мере его развития все ярче и ярче на первый план и затемняют собою те, хотя и сродные с ним, но не прямо принадлежащие к нему элементы, из которых оно еще не выделялось в первое время. Сущность социализма относится собственно к экономической жизни. Но не в одном экономическом быте должны произойти коренные перемены: им подвергается вся жизнь человека: и его отношения к другим людям по кровным или душевным привязанностям, и его воспитание, и его национальные отношения и т. д. Все эти перемены

будут вести к цели, сходной с целью социализма, к улучшению жизни человека. Но тем не менее задача о переменах чисто экономических есть задача очень различная от усилий к улучшению других сторон жизни. У сен-симонистов эта экономическая задача еще расплывалась в неопределенной экзальтированной жажде пересоздать вообще всю жизнь человека. Характеристическою чертою их учения были пылкие тирады о какой-то «любви». Конечно, в сущности следовало тут разуместь просто любовь к ближнему, замену нынешнего враждебного эгоизма добрым расположением между людьми, и не трудно было бы истолковать эту обязанность любви в таком смысле, чтобы более всего думать о таком экономическом устройстве, при котором людям не было бы надобности враждовать, а была бы всегда желать добра друг другу. Но прямой житейский смысл слова любовь не тот, и сен-симонисты не замедлили понять всю свою идею именно с такой стороны, с которой эротический смысл стал господствовать над экономическим и всяким другим. Вопросы о браке и о свободной любви скоро привлекли к себе главное их внимание. Таким образом в сен-симонизме элемент, собственно называющийся социализмом, был еще под владычеством стремлений, принадлежащих не экономической жизни, а так называемой жизни сердца. Фурьеризм уже прямо занимается всего более экономическою стороною жизни. Но она в нем рассматривается нераздельно от всех других научных, нравственных и общественных вопросов: в систему Фурье входят и теория планетной жизни земного шара с астрономиею, геологиею, и психология, и вопрос о семейных отношениях, и вопрос о воспитании и т. д. Надобно даже сказать, что экономическая часть системы, хотя и составляет самый обширный предмет исследования, исследуется у фурьеристов на основании психологической их теории, которая и служит корнем всего учения. Мы не говорим, что это неосновательно в безусловном теоретическом смысле — напротив, основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли жизни, действительно должны служить общие понятия о натуре человека, находящиеся в ней побуждения к деятельности и ее потребности. Мы вовсе не думаем также сомневаться в надобности или достоинстве такой науки, которая была бы сводом или экстрактом всех частных наук. Но нельзя не сказать, что эта энциклопедия не уничтожает собою надобности в отдельной разработке частных наук и что она скорее должна называться философию, нежели наукою о народном хозяйстве или политическою экономией или социализмом. Мы хотим сказать, что фурьеризм еще имеет характер слишком энциклопедический или философский, и социалистическое движение при дальнейшем своем развитии должно было получить вид более частный или специальный, чем какой имеется в фурьеризме.



Оно так уже есть теперь. Нынешние социалисты говорят: мы имеем свои убеждения о натуре человека вообще, думаем известным образом о семейных или педагогических вопросах, как имеем известный образ мыслей о политических делах. Но когда мы пишем трактат об экономическом устройстве, мы не должны распространяться о предметах, посторонних этому частному исследованию; {мы предполагаем в читателе известные общие убеждения, но — *зачеркнуто*} когда мы обращаемся из писателей в практических деятелей, мы не хотим раздроблять своих сил и усложнять своего дела смешиванием его заботами о реформах по другим отраслям жизни. О педагогических, семейных, нравственных реформах пусть заботятся другие, или будем заботиться и мы сами, только уже в других книгах или в других проектах законов. Разделение труда нужно для его успешности.

Потому нынешний социализм все свое содержание ограничивает экономической стороною жизни, точно так же, как политическая экономия. Например, в проектах о социалистических брошюрах Луи Блана вы не найдете ровно ничего о вопросах, не входящих в сферу экономической науки.

25. Не должно забывать разницу между обязанностями писателя как теоретика и того же писателя как практического деятеля. В очень многих делах обстоятельства заставляют человека ограничиваться усилиями о практическом осуществлении только малейшей части того, что принимает и доказывает он как справедливое и нужное. Кто может отрицать, что война — дело вредное и безнравственное? На практике все мы принуждены пока ограничиваться старанием, чтобы войны велись несколько реже, чем прежде, законы войны несколько смягчались, — например, было бы отменено каперство, было бы ограничено понятие действительной блокады и т. п. Но следует ли выводить из этого, что «при нынешнем состоянии человеческого развития главным предметом наших забот должно быть не уничтожение войны, а только улучшение военных обычаев?» Мало ли чего при каком состоянии общества нельзя осуществить в скорое время. Например, нельзя скоро достичь и того, чтобы люди не воровали, — должны ли мы поэтому лишать себя права называть воровство вещью, противоречащей общественному спокойствию и благоустройству?

Конечно, и в экономических делах, как во всяких других, надобно в данное время предлагать только такие реформы, которые возможны. Но характер, направление, общий смысл и самые подробности этих возможных и большею частью очень мелких улучшений должны определяться {началом, который мы имеем относительно — *зачеркнуто*} нашими понятиями о том, что хорошо само по себе, независимо от своей осуществимости или неосуществимости в данное время в данной стране. Иначе мы будем беспрестанно сбиваться с дороги и портить без всякой на-

добности не только будущее, но и настоящее. Когда Торвальдсен<sup>31</sup> принимался, например, во вторник за свою работу, — за какую-нибудь статую, — он знал, что не кончит ее ни в этот вторник, ни в следующий, ни через месяц. Он должен был знать, что в первый день работы и в первую неделю работы и, может быть, гораздо дольше ему придется работать над придаванием куску мрамора тех грубых очертаний, которые все исчезнут, снимутся дальнейшим ходом работы. Но разве все-таки не было нужно ему с первого же дня знать, какой окончательный вид должен получить кусок мрамора, над которым начинает он работать? Ведь если его понятия об этом не установились заранее и если в первые дни работы он думал: «теперь мне еще не нужно соображаться с моим идеалом, который реализуется еще бог знает через сколько недель и месяцев, — ведь если б так, он в первый же день испортил бы свою работу. Отплывает из Англии в Америку пароход; он не сделает своего пути ни в один день, ни в два дня, но ведь с первой же минуты надобно капитану знать и помнить, куда должен приплыть пароход? Говорят: «у каждого дня своя забота» или еще ближе к подлиннику: «каждому дню довольно своей заботы»<sup>32</sup>. Так и у этого капитана всякий день довольно хлопот, возникающих именно из особенных обстоятельств этого дня; так каждый день плаванья разнится от других. Но скажите же, важностью у этих ежедневных хлопот уменьшается ли сколько-нибудь необходимость знать окончательное назначение парохода?

Быть может, здесь нелишне будет сделать общую заметку о том, в каком виде представляется нам вероятнейший ход будущей истории экономического быта.

Коммунизм, по справедливому замечанию Милля, берет за основание общественного устройства идеал более высокий, чем каковы принципы социализма. По этому самому эпоха коммунистических форм жизни, вероятно, принадлежит будущему, еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также очень далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма.

Но, с другой стороны, коммунистическая теория гораздо проще социалистической. Поэтому неразвитая масса усваивает себе коммунистические стремления гораздо легче, чем социалистические, когда по стечению обстоятельств устремляется на переделку общественных отношений. Чтобы сочувствовать социализму, надобно быть приготовлену к довольно сложным комбинациям идей; чтобы сочувствовать коммунизму, достаточно чувствовать на себе отяготительность существующих экономических отношений и иметь обыкновенное человеческое сознание, что несправедливо терпеть нужду человеку, работающему или готовому работать, когда пользуются благосостоянием или богатством люди праздные. Но нечего обольщаться этою легко-

стью, с какою овладевают мыслями массы коммунистические идеи во время общественных потрясений. Нравы, обычаи, понятия, нужные для коммунистического быта, чрезвычайно далеки от понятий, обычаев, нравов нынешних людей, и при первых же попытках устроить свою жизнь по своим коммунистическим тенденциям люди находят, что эти тенденции, быстро увлекшие их, нисколько для них не пригодны. Выражаясь вульгарно, масса тотчас же чувствует, что напросилась с ковшом на брагу. Так развратник очень скоро находит, что сделал глупость, женившись на порядочной девушке, красота которой казалась ему так заманчива перед свадьбой: эта скромная женщина не может заменить ему подруг, столь же испорченных, как он сам, и он покидает красавицу-жену для лореток, вовсе некрасивых, а часто даже и вовсе дурных лицом. Социализм — кокетка, очень много заимствовавшая у лореток, но все-таки державшая себя прилично женщина порядочного круга. Она гораздо скорее сумеет удержать в своем сожительстве мужа, бывшего развратником до сочетания с ней, и при своей хитрости, быть может, сумеет удержать от распутства сына, которого приживет с этим мужем; вот этот сын, быть может, уже годится для жизни с женою действительно хорошею.

Но мы не думаем, чтобы и самый социализм скоро приобрел господство в экономической жизни. Мы видим в истории, что очень долгое время требовало порядочное осуществление перемен, совершенно ничтожных перед этою. {Дело о парламентской реформе в Англии тянулось не то 40, не то 50 лет, — а и реформа-то вышла какая {умеренная — *зачеркнуто*} неважная. {А во Франции — *зачеркнуто*}. Хорошо хоть то, что не понадобилось для нее англичанам делать революцию — *зачеркнуто*}. Посмотрите, например, сколько десятков лет тянулась в Англии и тянется теперь в других странах борьба {за такое неважное — *зачеркнуто*} между протекционизмом и свободою торговли. А что такое эта перемена перед изменением, какое соединено с социализмом? — не больше как поправка одной очевидной опечатки перед полною переработкою всей книги, устаревшей по своему содержанию.

Замена аристократического феодализма господством среднего сословия оказалась в истории делом, требующим нескольких веков, да и это дело после нескольких веков все еще не покончено в самых передовых странах. Не говоря уже об Англии, не говоря о Франции (в которой, по мнению Бокля, аристократизм все еще сохраняет больше сил, чем в Англии <sup>33</sup>, — мнение, противоречащее обыкновенному поверхностному взгляду, но в сущности разве немного утрированное), даже вон в Соединенных Штатах, где как будто вовсе и не существовало аристократии, она {подняла страшную войну — *зачеркнуто*} обнаружила изумительную силу, подняв южные штаты на войну для сохранения

своего господства над Союзом<sup>34</sup>. Сколько же времени понадобится, чтобы приобрел господство в исторической жизни простой народ, которому одному и выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим! По всей вероятности, это будет история очень длинная. Но ведь если 30-летняя война продолжалась 30 лет<sup>35</sup>, из этого еще не следует, что не было сражений и в первый год этой войны. По одному большому сражению в начинающейся вековой борьбе за социализм было уже дано в обеих передовых странах Западной Европы. Во Франции это была июньская битва на улицах Парижа; в Англии колоссальная апрельская процессия хартистов по лондонским улицам<sup>36</sup>. Обе битвы были даны в 1848 г. Обе были проиграны. Но на нашем веку еще будут новые битвы, — с каким успехом, мы увидим. А впрочем, с каким бы успехом ни были даны они, мы должны вперед знать, что проигрыш только возвращает дело к положению, из которого должны возникать новые битвы, а выигрыш, — не только первый, который и сам когда-то еще будет, — но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не дает окончательного торжества, потому что интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию, страшно сильны. Разве одним ударом или двумя ударами была разрушена Римская империя?<sup>37</sup>

Этот взгляд многие принимают за безнадежность, отчаяние. Но какая же тут безнадежность, если я полагаю, что не с первого же приема выучились люди строить пароходы так хорошо, как строят теперь. Другие, напротив, называют тот же взгляд фанатическим или утопическим. Но трудно согласиться, что нужен фанатизм или утопизм, чтобы иметь непоколебимое убеждение в неотразимости силы распространяющегося просвещения: неужели нельзя быть человеком хладнокровным и рассудительным тому, кто утверждает, что грамотность и образованность в народе постепенно увеличивается, что благодаря этому народ постепенно привыкает понимать свое человеческое достоинство, распознавать невыгодные для него вещи и учреждения от выгодных и обдумывать свои надобности? {Ведь убеждение в этом приобре<тается> — *зачеркнуто*.} Да что тут сомнительного-то? А если из этого несомненного исторического закона возникают какие-нибудь непривычные для нашей рутины или невыгодные для наших интересов последствия, то сколько хотите отворачивайтесь от них, а все-таки хода истории не остановите.

26. Мы уже говорили (т. I, стр. 000, прим. 00), что воздержание только сохраняет продукт, а не производит его, и что единственным натуральным вознаграждением за воздержание служит сохраненная им возможность пользоваться сохраненным продуктом, а не какая-нибудь прибавка из другого продукта, произведенного другим человеком, которому по коренному понятию собственности должен остаться весь продукт, над которым никто кроме его не работал. {«Но ведь для производства нужен

кроме труда капитал, как же одному из необходимых факторов продукта не получать некоторую долю продукта?» — А вот как. Если несколько человек участвуют в работе над продуктом, то определяется самую сущностью дела, каково справедливое распределение продукт — *зачеркнуто*.} Дело в том, что если капитал не может {ни возникать, ни сохраняться без — *зачеркнуто*} возникать иначе как из труда, а труд невозможен без капитала; это значит, что капитал и труд по самой сущности дела должны быть соединены нераздельно, и делить между ними продукт незачем, потому что оба они должны быть в одних руках. Если эта существенная нераздельность труда и капитала нарушается, то положение дела будет ненормальное, противоречащее сущности вещей, не подходящее ни под какую здравую теорию, потому и не могущее определяться никакими справедливыми правилами. Чтобы возвести это ненормальное положение в теорию, нужно будет нарушать все законы логики и все законы вещей, и таким образом из области науки мы перейдем в область произвольных определений. Действительно, нельзя найти никакой основательной нормы для распределения продукта между капиталом и трудом; поэтому политико-экономы, желающие возвести в принцип этот ненормальный факт раздельности элементов, неразлучно связанных своею-природою, принуждены говорить, что все тут зависит от внешних обстоятельств, случайную игру которых украшают они именем уравнивания между запросом и снабжением.

27. Это рассуждение совершенно в том же роде, как, напр., следующее: я вижу плохую гать, по которой полгода нельзя ездить, а в другую половину года езда сопровождается ломкою колес, опрокидываньем возов, а часто и увечьем проезжающих. Я говорю, что гать эта плоха и нужно ее переделать. А мне возражают: по согласитесь, что все-таки с ней лучше, нежели было бы без всякой гати. Тогда вовсе никогда не было бы проезду, а теперь все-таки кое-как ездят. Таким способом рассуждения все на свете может удобно быть просвещаемо в красоту и добро \*. Наприм. Я шел по улице, у меня вынули платок из кармана. — Жаль, говорю я. — Нет, говорят мне, вы радуйтесь, что не вынули у вас и часов. — Наглый кучер какого-нибудь фата задел дышлом прохожего и переехал ему через ногу. — Несчастный случай, говорю я. — Нет, возражают мне, хорошо, что он переехал ему через ногу, а не через грудь. Отличный способ рассуждения; только в науке он никуда не годится.

28. Точно так же корове нельзя обойтись без сена, на котором лежит собака. Только спрашивается: зачем же хозяйка сена — собака, которая ничего не умеет делать с сеном, а не корова, которой оно нужно?

\* Повидимому; все на свете может быть изображено как красота и добро. — *Ред.*

29. В деле, о котором рассказывает побасенка, упомянутая в предыдущем примечании, корове, без сомнения, случается иногда получать сено от собаки на условиях, очень легких для коровы. Это очень утешительно, но едва ли следует на основании этих прекрасных случаев возводить в теорию, что сено должно принадлежать собаке.

30. Это исключение, конечно, очень справедливо; но шгука в том, что все важное может оказаться заключающимся в этом исключении, так что для правила останется быть применяему только к пустякам. Не годится уничтожать через 60 лет незаконный факт, вредные следствия которого исчезли и который зарос последующими явлениями правильного порядка дел. Совершенно так. Например, в 1802 г. у вашего деда были украдены часы; он, будучи человек небогатый, жалел о них, несколько времени должен был подвергать себя стеснениям, чтобы собрать деньги на покупку новых часов, но это все давным-давно прошло, так что в нашем нынешнем положении не было бы никакой большой разницы, хотя бы и не подвергся в 1802 г. этому дурному случаю. Разумеется, общество не имеет достаточной причины поднимать теперь розыск об этом факте, случившемся за 60 лет, и восстанавливать в вашу пользу нарушенную тогда справедливость. Игра не стоит свеч. Вы сами согласитесь с этим, если вы не человек вздорный. — Ну, а что, если в 1802 г. произошел с вашим дедом не этот случай, а вот какой. Был у него порядочный домик на хорошем месте, и это место стоит теперь в 10 раз больше тогдашней цены. Он благодаря домику жил порядочно, а вы, если бы дошло это имущество до вас, жили бы даже и очень хорошо. Но случилась с дедом беда, — он заложил дом, чтобы купить еще другое место или для какого-нибудь другого хорошего оборота. Мошенники узнали, когда он получает деньги из банка, подстерегли деда и зарезали, а деньги взяли себе. Дом был продан с аукциона; бабушка ваша осталась нищею, не могла дать образования своему сыну, вашему отцу, и он маялся век канцелярским чиновником, и вас не мог образовать по недостатку средств, и вы вечный канцелярский чиновник в худых сапогах. Что, исчезли последствия факта, совершившегося 60 лет тому назад? Что, перестали вы жалеть о нем? Как теперь рассудить ваше дело? Имеете ли вы право отыскивать пропавшие тогда деньги? Должно ли общество помогать восстановлению ваших прав на них? На это каждый отвечает по-своему. Кто находится в положении, сходном с вашим, тот скажет, что обществу стоит похлопотать о вашем деле. А чьи дела не в таком положении, тот скажет: если бы ваша бабушка, ваш отец и вы сами в течение 60 лет старались как следует сколотить копейку, вы уже и без дедушкина домика были бы теперь человеком зажиточным; значит, если теперь вы бедны, в этом виноват не случай с вашим дедом, а бесхарактерность, бездарность,

невоздержность или леность вашей бабушки, вашего отца и вас самих. Ни на какие несчастья вам нельзя жаловаться, и никакое восстановление прав не должно быть сделано для вас; жалуйтесь только на самое себя. Эта речь очень хороша во всем, плоха только в том, что несколько не уменьшает раздражения, наводимого на вас вашими дурными обстоятельствами, не примиряет вас с обществом и с общественным устройством, оставляет вас, если позволите так выразиться, революционером — не по образу мыслей: куда вам иметь какой-нибудь образ мыслей, а по вашему положению, по вашим инстинктам, по вашей натуре, т. е. самым опасным революционером, человеком с волчьими чувствами.

Возьмите какой хотите важный факт несправедливости, вывод будет все тот же. Что уже сглажено историей, то исчезло из чувства и желаний нынешних людей. Кто в Англии огорчается тем, что англо-саксы когда-то ограбили кимвров? Вероятно, никому нет теперь до этого дела. О восстановлении прав, нарушенных тогда, конечно, нечего хлопотать. Но вот в Ирландии другое дело, — кельты до сих пор злобствуют на англо-саксов. Вероятно, не мешало бы как-нибудь поправить это дело ограбления ирландских кельтов английскими англо-саксами, хотя оно совершилось уже и очень давно.

Как поправить, — это иной вопрос. Нынешним людям нужно иметь дело с нынешними отношениями, а не с теми, какие записаны в старинных документах. Не о том теперь забота, что некогда Генрихи или Эдуарды завоевывали Ирландию и как они ее завоевывали; дело о том, что нынешним ирландцам не хочется и не следует жить так, как они теперь живут.

Едва ли не следовало нам вместо этого длинного рассуждения прямо высказать только результат, из него вытекающий. Пожалуй, признавайте право давности сколько хотите; но от мнений и теорий могут зависеть только решения частных процессов между отдельными лицами. В общественных отношениях не то. В них все зависит от нынешнего положения дел, из каких бы там событий оно ни проистекало, из давних или недавних. Если общество проникается стремлением изменить эти отношения, оно не смотрит ни на какое право давности; дело решается тем, на какой стороне сила и каковы нынешние чувства стороны, одерживающей верх.

31. Мы отдаем полную справедливость чувствам, которыми внушен Миллю этот план реформы в законах о наследстве. Но нам кажется, что его осуществление потребовало бы огромных усилий и что с гораздо меньшими усилиями можно достичь гораздо большего результата, если обращать усилие не на обрезывание существующего принципа, прямо нарушающего интересы очень многих, а на спокойное и не нарушающее прямо ничьих интересов введение в общественный быт учреждений, основанных на другом принципе. При спокойствии возможна ровная постепенность, а мирные заботы о постепенном развитии ассоциаций

сделают для смягчения крайних экономических неравенств несравненно больше, чем ограничение права наследования.

32. Таким образом вопрос о поземельной собственности, по мнению Милля, весь сводится к тому, какая форма ее выгоднее для общества: право общества изменять формы поземельной собственности Милль признает неограниченным. А достоинство разных форм поземельной собственности определяется, по мнению Милля, степенью ответственности их с тремя главными условиями хорошего возделывания: вечностью владения, одинаковостью интересов владельца и возделывателя, наконец свободой земли от долгов, уменьшающих средства владельца улучшать землю. Какая же форма поземельной собственности наиболее соответствует всем этим условиям? Я посвятил две большие статьи (в «Современнике» 1857 г. IX и XI) разбору этого вопроса и, как мне кажется, привел много доказательств тому, что форма общественной поземельной собственности гораздо больше, чем какой бы то ни было вид частной поземельной собственности, удовлетворяет выгодам общества и условиям хорошего возделывания. Ограничиваюсь здесь указанием на эти статьи {которым полемическая форма была придана мною только для оживления предмета и которые в сущности писаны для — *зачеркнуто*}, против которых едва ли были представлены какие-нибудь возражения, кроме известных панегирических похвал частной собственности, уже рассмотренных мною в самых статьях.

33. Но право одного человека на труд другого человека должно быть признано также невольничеством этого второго человека. Если, например, я обязан работать известное число часов неделю на другого, это значит, что ему принадлежит известная часть моего времени, т. е. моей жизни. Положим, я должен из 12 дней работать на кого-нибудь один день, это все равно, как если бы я проводил один месяц в году в невольничестве у него. Само собою разумеется, что мы говорим это, имея в виду не так называемый обязательный труд и не так называемые повинности работою: об этих отношениях нечего говорить, всем известно, что они должны считаться смягченною формою невольничества, — нет, мы хотим обратить внимание читателя на то, что так называемый свободный труд по найму имеет характер невольничества, если он производится по договору, вперед обязывающему работника исполнять какую-нибудь работу в продолжение какого-либо срока, или если обычаем или обстоятельствами становится работник в такую же необходимость и без формального договора, или, если, наконец, работник, хотя и не привязанный ни на какое время вперед ни к какой известной работе у известного хозяина ни договором, ни обычаем, ни обстоятельствами, все-таки обречен на необходимость работать по найму невозможностью добывать средства для жизни иным способом. Разница третьего случая от двух первых состоит только в том, что не-



вольник пользуется возможностью переменять господ, чего не может делать в первых двух случаях, но во всех трех случаях одинаково он не может не быть невольником какого-нибудь господина. А эти три случая обнимают собою почти всю массу работы по так называемому добровольному найму. Те случаи, в которых наемный работник не привязан вперед ни на какое время к известной работе и может вовсе выйти из положения наемного работника, как только захочет, — эти случаи составляют редкое исключение.

34. Итак должности и патронатство не должны быть собственностью; а следует им быть должностями, даваемыми от общественной власти по выбору или по назначению. Но всякое значительное движимое имущество, а недвижимое имущество даже и не очень значительное, дает человеку точно такую же власть над судьбою других людей, как должность; собственник непременно имеет патронатство над окружающими его. Зависимость простолюдина от полиции как бы ни была велика, все-таки не так велика, как зависимость от хозяина.

35. Но всякая недвижимая собственность, по замечанию самого Милля, есть монополия. Это и два предыдущие замечания служат образцами того, что из принципов самих последователей Адама Смита вытекает теория экономического быта, нимало не похожего на нынешний, принимаемый ими только по недостатку последовательности в мыслях.

36. Милль берет только одну сторону действий обычая, забывая другую. Обычай действительно во многих случаях охраняет слабого от чрезмерных притязаний сильного; но точно так же он сохраняет притязания сильного в столь же многочисленных случаях, когда сильный забыл бы или не захотел бы предъявлять притязаний. Обычай действует, как веревка, привязывающая к известному положению, сдерживающая отклонение от него и в хорошую сторону точно так же, как в дурную. Был обычай гаскать жену за косу. Этот обычай очень во многих случаях ограждал жену от истязаний еще более тяжелых: иной муж бил бы жену оглоблей или обухом, и не делал этого только потому, что обычай говорил: так бить жену не годится, а следует таскать ее за косу. Но зато разве не было других мужей, которые только потому и таскали жен за косы, что обычай поднимал их руки, и которые без этого обычая вовсе не били бы жен? Точно таково же значение обычая и в экономических делах. Наприм., при крепостном праве был обычай трехдневной барщины. Конечно, он удерживал на этой норме некоторых помещиков, которые без того заставляли бы крестьян работать больше (да и немногих он удерживал-то от этого из таких помещиков, как видно из многочисленности поместий, в которых крестьяне отправляли барщину больше трех дней). Но точно так же он удерживал на этой норме и многих добродушных и нетребовательных помещиков патриар-

хального быта, которые рассудили бы, что на их немногочисленные потребности достаточно будет и меньше трех дней барщины, если бы обычай не отнимал у них всякий повод рассудить об этом. Притом кто не знает, что иногда приискивалась и пустая работа за отсутствием важной, лишь бы не проходили без дел даваемые обычаем дни барщины? Дело в том, что обычай есть представитель среднего уровня отношений при данном состоянии нравов. Поэтому никак нельзя сказать, что он приносит слабым что-нибудь сверх того, что дается им общим уровнем нравов того времени, когда установился обычай. Но эта его индифферентность продолжается только на то время, пока цивилизация остается в прежнем положении. Если же времена идут к улучшению, то обычай является силою, задерживающею развитие, оттягивающею общество к прежнему положению, какое было во времена, более грубые. Это понятно всякому. Таким образом обычай ни вреден, ни полезен для слабых в неподвижном обществе и вреден для них в обществе развивающемся.

37. Вот мы и видим, что слабый охраняется от чрезмерных притязаний сильного не обычаем, а или расчетливостью сильного, или тем свойством человеческой природы, которое не позволяет сильному постоянно держаться в напряженном состоянии чрезмерной требовательности.

38. Вернее будет истолковывать ход улучшений быта совершенно наоборот. Цивилизация движется вперед; она постепенно поднимает в угнетенных классах уровень их сознания о их человеческих правах; а эти классы составляют огромное большинство каждой нации в каждое время; а понятиями большинства определяется характер быта. (В доказательство возьмем случай самого крайнего, повидимому, бессилия большинства над определением быта. Франки завоевывают Галлию, отбирают у галлов землю и обращают их в рабов. Почему установился такой быт? Единственно потому только, что в головы галлов засело понятие: мы не в силах противиться франкам. А в самом деле не могли бы они пересилить франков, если бы не связало им руки это понятие? Что же в самом деле, или франк был несравненно сильнее галла? Ничуть не бывало. Двое или трое посредственных галлов наверное могли связать самого сильного франка. Нет, им только так показалось, что они не сладят с франками. Показалось им, конечно, не без причины; причина находилась {в их прежнем состоянии — *зачеркнуто*} в понятиях, привившихся к ним во время римского господства). Итак, благодаря успехам цивилизации угнетенное большинство начинает понимать, что надобно ему улучшить свой быт. Оно становится требовательнее, и быт улучшается. Вот и вся история. А какую же роль играет в нем обычай? Он привязывает людей к прежним понятиям, мешает развитию цивилизации. То, что было бы достигнуто быстро и без борьбы, если бы не связывал обычай, достигается труднее при нем; кроме

реальных препятствий, надобно одолеть еще обычай. Таким образом успехи цивилизации состоят в победах над обычаем.

39. Это один из примеров господствующего фальшивого способа привязывать хотя какие-нибудь хорошие последствия к дурным фактам. Неумение огромного большинства историков избегать этого обманчивого приема наполняет умы ошибочными представлениями о ходе событий. Например, в Крестовых походах отыскивается то полезное последствие, что они перенесли в Европу знания, сохранившиеся у арабов, и передали в руки простолюдинов множество земель, продававшихся феодалами при отправлении в поход<sup>38</sup>. Но ведь эти походы разоряли Европу и поддерживали в ней варварство; как же можно говорить, что выгодно было для простолюдинов или для просвещения то явление, которое разоряло народы и мешало им просвещаться? Ведь люди более зажиточные и менее дикие скорее бывают способны приобретать и землю и знания, чем люди разоренные и одичавшие. Так и рабство мешало какой-нибудь стране иметь густое население и задержало массу ее населения в грубости; таким образом оно само отняло у ней условия, нужные для правильного ведения многосложных промышленных предприятий, фабрик и заводов. Но вот возникают в ней некоторые подобные предприятия и ведутся неправильным способом принудительного труда, доставляемого рабством. Можно ли сказать, что страна эта обязана рабству возможностью иметь хотя эти немногие промышленные предприятия? Нет, она ему обязана только невозможностью иметь многочисленные подобные предприятия и невозможностью вести их способом более рациональным. Ядро оторвало у человека ногу, он теперь ходит на клюшке; следует ли говорить, что он обязан ядру возможностью ходить?

40. Опять то же самое. Дикие племена остаются дики потому, что ведут между собою войну для захватывания добычи и между прочим для захватывания пленных с целью делать их рабами. Это стремление, — грабеж и приобретение невольников, — делают их неспособными заниматься производительным трудом. Следует ли говорить после этого, что невольничество служит у них условием производительного труда? Нет, оно и у них только мешает развитию производительного труда. {Это и предыдущее примечание — зачеркнуто.}

41. Нет, выгодность отмены невольничества для самих работников зависит главным образом не от этого. Невольничество не годится для производств, совершаемых усовершенствованными процессами с высоким разделением труда. Обязательным трудом могут исполняться, говоря вообще, только патриархальные производства с очень грубыми процессами. А из таких производств земледелие и первоначальная грубая обработка земледельческих продуктов имеют такую важность, что перед ними совершенно незначительны все другие производства, стоящие на той же сте-

пени экономического развития. Потому невольничество имеет только две важные обязанности: земледельческую работу или домашнее прислужничество. Рабовладельцы, говоря вообще, извлекают из своих невольников пользу, как землевладельцы, и пользуются их услугами, держа дворню из них. Но наемная прислуга всегда обходится дешевле, чем крепостная дворня. Это может доказать всякий, знакомый с экономическими приемами расчетов. Таким образом освобождение тех невольников, которые находятся в домашнем услужении господина, всегда выгодно господину. Что же касается до освобождения невольников, занимающихся земледелием, выгодность или невыгодность его для господина определяется тем обстоятельством, сохраняет или не сохраняет он землю или, говоря иначе, без земли или с землею освобождаются невольники, и если с землею, то какую пропорцию составляет отдаваемая им часть земли с частью, остающейся у господина.

При невольничестве земля непременно имеет цену, гораздо меньшую той, какую имела бы в той же самой стране с тем же населением без невольничества. Это происходит именно от того, что принудительный труд гораздо менее производителен, чем труд свободный, и оттого десятина земли, возделываемая невольническим трудом, дает гораздо менее дохода, чем та же десятина при свободном труде. Поэтому, если невольники освобождаются без земли, землевладелец начинает получать от своего поместья больший доход, чем прежде, и сообразно тому одна земля поместья по уничтожении невольничества имеет цену больше той, за какую продается вместе с невольниками при невольничестве. Выигрыш землевладельца, как землевладельца, непременно бывает в этом случае гораздо больше потери его, как владельца невольников. Этот случай вполне применяется к южным штатам Северной Америки, в которой незанятой удобной земли так много, что невольникам нет надобности требовать так называемого у нас освобождения с землею. Положительное доказательство тому представлено в знаменитой книге Гельбера о вреде невольничества в южных штатах<sup>39</sup>. Вот отрывок из этой книги:

«Средняя ценность экра земли в Нью-Йоркском штате 36 долларов 97 центов; в Северной Каролине только 3 доллара 6 центов. Качеством земли, климатом, минеральным богатством, водяною силою для фабричных работ Северная Каролина превосходит Нью-Йоркский штат, и за исключением невольничества нельзя указать никакой основательной причины тому, чтобы земля в долине северно-каролинской реки Ятканы не имела по крайней мере такой же ценности, как на берегах нью-йоркской реки Джимиси.

«Разница между 36 долларов 97 цент и 3 долл. и 6 цен. составляет 33 долл. 91 ц., — эта цифра, умноженная на все число экров Северной Каролины, покажет громадность потери, какую уже и с этой одной стороны терпит Северная Каролина от невольничества.

32 450 560 экров по 33 долл. 91 ц. — 1 100 398 499 долл.

«Награда в 1 100 000 000 долларов представляется за обращение земель Северной Каролины в свободные земли. В 1850 г. вся ценность всех невольников Северной Каролины по 400 долл. за человека составляла меньше 116 000 000 долл. Неужели сумма 116 млн. приятнее суммы 1 100 млн.?

«Уничтожьте невольничество и вы возвысите ценность всякого своего поместья с 3 долл. за экр до 36 долл. Ваше маленькое поместье в 200 экров, имеющее теперь только жалкую цену 600 долл., будет стоить 7 000 долл.).

Таково неперемнное последствие освобождения невольников без земли: рабовладельцы получают громадный выигрыш от возвышения цены земли. Если невольники освобождаются с землей, выигрыш этот уменьшается сообразно тому, какая часть земли отходит к освобождаемым. Но так как страны с невольничеством вообще населены слабо и величина поместья вообще бывает очень значительна сравнительно с числом бывших в нем невольников, то, вообще говоря, землевладелец получает все еще большой выигрыш, если у него остается хотя одна половина земли, а другая отходит к освобождаемым. Сделаем пример применительно к нам.

Средняя ценность земли в тех губерниях, в которых существовало крепостное право в размере сколько-нибудь значительном, конечно, ниже 25 р. сер. за десятину; но положим, что она простирается даже до 35 р. Это пространство, составляющее около 50 000 кв. миль, или около 250 млн. десятин, имеет население до 40 млн. человек.

Франция при населении, несколько меньшем, имеет более 10 000 кв. миль, или 50 млн. десятин.

Судя по этой пропорции населения к земле, десятина земли у нас в губерниях, о которых мы говорим, никак не должна была бы иметь цену меньше, чем одна пятая часть цены за десятину во Франции. Напротив, следовало бы у нас цене земли быть выше этой пропорции, потому что при меньшей густоте населения употребляются более поверхностные способы обработки, при которых чистый доход составляет более значительную пропорцию в продукте.

Средняя цена земли во Франции 1713 франк. за гектар, т. е. около 475 р. за десятину (*Statistique de la France par Maurice Block*<sup>40</sup>, т. II, стр. 29).

Пятая часть этой цифры составляет 95 р. сер.

Итак, цена земли у нас в губерниях, имевших крепостное право, должна была бы стоять никак не ниже, а скорее выше 95 р. сер. за десятину.

Между тем она гораздо ниже 35 р. и, по всей вероятности, ниже даже 25 р. (не должно забывать, что мы говорим о средней цене, выводимой для всего пространства. Если у нас есть

уезды, в которых хорошая луговая земля стоит гораздо дороже, то и во Франции есть департаменты, в которых не только луговая, но и пахотная земля стоит вдвое и втрое больше средней цены — 475 р.).

Ничему кроме крепостного права нельзя приписать эту разницу между ценой 95 р., которой должна была бы стоить десятина, и 25 или 35 рублями, которых стоит она теперь.

Таким образом крепостное право отнимает у землевладельца от 60 до 70 р. в каждой десятине.

Берем теперь поместье, имеющее 100 душ при 500 десят. земли. Средняя цена такого поместья была при крепостном праве меньше 15 000 р.

Положим, что половина земли отходит к крестьянам. Остающиеся у землевладельца 250 десят. должны по отменении крепостного права получить свою естественную ценность по 95 р. за десят., и эта оставшаяся половина поместья будет стоить около 24 000 рублей.

Таким образом благодаря отмене крепостного права землевладелец все-таки должен выиграть около 9 000 руб., хотя бы не только крепостные крестьяне были освобождены без выкупа, но и целая половина поместья отошла к ним также без всякого выкупа.

Из этого видно, какое значение может иметь то, если землевладелец получает какое-либо вознаграждение за освобождаемых крестьян и отходящую к ним землю. Это не есть вознаграждение в точном смысле слова. Вознаграждать его не за что, потому что он в результате не теряет, а выигрывает; выкуп, насколько он требуется собственно экономическими соображениями, имеет смысл только как временное пособие, даваемое на поддержку землевладельца при заведении хозяйства с вольнонаемным трудом, или как страховая премия, выдаваемая ему вперед на тот случай, если понадобится ему продать оставшуюся у него землю раньше того недолгого срока, когда цена этой оставшейся у него части будет больше цены, какую имело все поместье при крепостном праве.

Если же выкуп превышает эту меру пособия и страховой премии, то он уже не есть вознаграждение, требуемое экономическими расчетами, а должен быть назван наградой, вроде того как даются чины, ордена и аренды.

Мы находим, что освобождение невольников всегда выгодно для владельцев при обоих тех видах пользования невольничеством, которые могут быть названы соответствующими понятию невольничества, — при содержании невольников в домашней прислуге или на производительной работе. Но есть третий способ извлечения выгоды из невольников — взимание с них владельцем подати с предоставлением им разрешения приобретать средства к уплате этой подати и к собственному существованию, как они хотят сами. Например, невольник отпускается в город

или по деревням отыскивать себе работу или промысел по добровольному найму у постороннего хозяина или заниматься каким-нибудь делом на свой собственный счет как самостоятельный хозяин; за это он платит владельцу известные деньги. По юридическому определению невольник в этом случае продолжает оставаться невольником; но экономическая сущность дела тут уже не имеет сходства с подлинным невольничеством.

Действительно, экономическое отношение владельца к невольнику точно таково же, как отношение к домашнему животному: хозяин извлекает пользу из работы лошадей или невольников, но сам содержит их. Можно спрашивать, существует ли соразмерность между его расходами на их содержание и получаемую от их работы выручку; можно порицать хозяина, если оказывается, что, получая хорошую выручку от своих лошадей или невольников, он содержит их скудно. Можно также спрашивать, до какой степени прилично обществу терпеть, чтобы люди были удерживаемы в таком положении, как домашние животные. Но каков бы ни был наш взгляд на эти вопросы, все-таки надобно согласиться, что эти факты принадлежат частному праву, сфере привилегий, могущих быть присвоенными частным лицам, и власть господина является тут следствием его хозяйственного управления имуществом.

Но совершенно иное дело в том третьем случае, к рассмотрению которого мы перешли. Плата, получаемая господином от невольника, работающего у постороннего хозяина или на свой счет или содержащегося не на счет господина, — плата, требуемая господином с такого невольника, никак уже не может быть названа выручкой за содержание невольника. Она уже составляет налог, совершенно сходный с патентною пошлиною, с гильдейскою пошлиною и чисто принадлежит сфере политической или общественной власти. Господин тут уже не остается частным лицом, извлекающим доход из своего частного хозяйства, а является государем, взимающим подать с подданного за предоставление подданному известных прав. Если, например, невольник живет где-нибудь не у своего господина и занимается каким-нибудь ремеслом, а господин берет с него деньги собственно за то, что позволяет ему жить на свободе и заниматься этим ремеслом, то господин делает совершенно то же, что делает государственная власть, берущая известные деньги с купца за дозволение ему иметь лавку или гостиницу в известном городе или селе. Следовательно, тут является уже совершенно новый вопрос, не изменявшийся к двум предыдущим случаям: до какой степени могут подданные государства быть сами государями над некоторыми другими подданными того же государства? До какой степени может державная власть быть допускаема в частном лице, признаваемом законом за частное лицо, не имеющее державной власти? Этот случай совершенно таков же, как история

Ермака, получившего фактическую власть над Сибирью. Сам Ермак сознавал, что он не имеет никакого права считать себя государем людей, фактическая власть над которыми досталась в его руки, и поспешил передать эту власть царю, подданным которого был. При этом царь мог найти возможным, а Ермак мог желать, чтобы за отказ Ермака от государственной власти, никак не долженствовавшей принадлежать ему, была дана от государства какая-нибудь награда, может быть и очень богатая. Но ни царю, ни Ермаку, никому в России не приходило на мысль определять величину вознаграждения по такому экономическому расчету: если бы Ермак оставался государем людей, фактическую власть над которыми имел, то государственный бюджет Ермака, состоявшийся из податей и налогов, простирался бы положим до 100 тысяч рублей в год; итак, государство должно обеспечить 100 тысяч рублей дохода Ермаку за прекращение его власти собирать налоги в свою пользу.

Из этого следует, что если прекращение тех доходов от невольников, которые получают владельцем не как выручка за содержание невольников, а как подать с невольников, содержащихся на свой счет, то есть получают владельцем не как частным человеком, а как государем, — если прекращение таких доходов и составляет потерю для бывшего владельца, то вознаграждение за эту потерю несколько не вытекает из экономических оснований, хотя и может быть даваемо по политическим или другим соображениям. Государственная власть не такой предмет, который оценивается на деньги; ее приобретение или потеря не могут считаться предметами покупки или продажи. А чего нельзя продавать, за то нельзя и вознаграждать деньгами.

Но потеря права облагать людей по своему произволу по-датью в свою собственную пользу без всяких обязанностей относительно этих людей составляет во всяком случае убыток. Таким образом освобождение невольников без выкупа всегда убыточно для владельцев, извлекающих доходы из невольников, которые живут самостоятельным трудом и содержатся на свой счет. Будут ли такие владельцы иметь выигрыш или проигрыш, если за освобождаемых невольников дается им по каким-нибудь не признаваемым экономическою теориею соображениям денежная сумма, равная продажной цене освобождаемых невольников? Это зависит от того, будет ли ценность труда повышаться или понижаться сравнительно с процентами. Положим, например, что невольники, содержащиеся на свой счет, платили владельцу 500 р. и ценность невольников определена по существующей в это время величине процентов, которая была равна 5 на 100. Сумма выкупа будет найдена капитализацией дохода из 5%, и владелец должен получить 10 000 р. Положим, что наемная плата остается прежняя; это значит, что владелец при сохранении невольничества мог бы брать с невольников



попрежнему 500 р. Но сколько он будет получать с выданной ему суммы? Если проценты упадут до 4, он станет получать только 400 р. и будет в проигрыше; если проценты поднимутся до 6, он будет получать 600 р. и останется в выигрыше. Точно такие же разницы происходят и от изменения в наемной плате. Если она возвышается, а проценты поднимаются не так много или падают, освобождение оказывается невыгодно, а в противном случае выгодно для бывшего владельца.

Мы {видели из примечания 41 — *зачеркнуто*} сказали, что в Соединенных Штатах освобождение невольников даже без всякого выкупа было бы очень выгодно плантаторам. Но они не хотели слышать даже об освобождении с выкупом и теперь ведут очень тяжелую войну, чтобы отклонить от себя эту опасность. Как объяснить такую нерасчетливость? Дело в том, что если денежная выгода и составляет коренной мотив человеческих действий, то корыстолюбие переделывает все понятия и привычки человека сообразно своему влечению, и очень часто эти искаженные понятия получают над умом человека такую силу, что затемняют для него самый расчет денежной выгоды. Наприм., добывание денег военным грабежом далеко не такой выгодный способ обогащения для нации, как производительный труд. Это доказано до несомненности. А между тем алчность отнимает у всех дикарей и очень часто у цивилизованных наций способность сделать это простое соображение. Тут же замешиваются другие страсти, которые коренным образом происходят также из своекорыстия, но в которых оно принимает такие формы, что часто уже вовсе забывает о своей основной форме — денежном расчете. Наприм., власть привлекательна человеку главным образом как возможность приобретения материальных выгод. Но властолюбие часто развивается до того, что входит в противоречие с денежным расчетом. Точно так же тщеславие основано коренным образом на властолюбии и на желании ослепить людей для выманивания у них денег (богатому человеку больше доверяют в денежных делах, стало быть показывать богатство — хороший способ обогатиться). Но часто тщеславие развивается до того, что человек жертвует действительною властью для блеска призрачною властью или разоряется на похвалу богатством. Владение невольниками так льстит властолюбию, чванству и всяким тщеславным страстям, что очень часто ослепляет людей насчет их действительных денежных выгод. Людям кажется, что быть господами с посредственным состоянием лучше, чем перейти в разряд обыкновенных людей, хотя бы и более богатых. Рабовладелец очень часто не соглашается освободить невольников по тем же причинам, по которым канцелярские чиновники лучше остаются на службе в крайней бедности, не соглашаясь, что выгоднее было бы им становиться мастеровыми или хлебопашцами: это, видите ли, унижительно.

Едва ли надобно объяснять, что эти бесчисленные примеры пренебрежения денежными выгодами для разных предрассудков властолюбия, тщеславия и т. д. нимало не опровергают основной идеи политической экономии, что главным и единственным серьезным двигателем житейских дел служит интерес: если эти предрассудки противоречат здравому расчету материальной выгоды, то все-таки они вытекают в сущности из того же стремления к выгоде и противоречат ей только потому, что неверен был или стал тот расчет выгоды, который довел людей до этих понятий или привычек. Это все равно, что человек лечится — как <будто> из желания быть здоровым, но часто он портит лечением свое здоровье, и есть множество лекарств и лечебных приемов, вредных для здоровья.

42. Милль без надлежащей критики повторяет здесь ошибочное мнение, распространенное вест-индскими плантаторами {озлобленными — *зачеркнуто*}. Оно совершенно опровергнуто статьей «Westminster Review», перевод которой был помещен В. А. Обручевым в «Современнике» (1860 г., № 11) под заглавием «Леньство грубого простонародия»<sup>41</sup>. В конце главы я помещаю извлечение из этой статьи. Предмет заслуживает внимания, потому что фальшивое представление результатов освобождения на Вест-Индских островах служит одним из главных аргументов людям, защищающим разные формы зависимости рабочего класса, каковы почти все политико-экономы господствующей школы.

43. Раз навсегда заметим здесь, что все подобные выражения о благотворной силе собственности мы признаем совершенно справедливым <и> в том смысле, какой принадлежит им по их происхождению и по кругу понятий, существовавших у Адама Смита, Артюра Юнга и их современников, которые сравнивали работника-собственника с работником-арендатором, наемным работником и невольником, а понятие собственности противопоставляли понятиям аренды, с одной стороны, и грабительской безурядицы, с другой. В этом кругу сравнения собственность, конечно, несравненно лучше всех сравниваемых с нею предметов. Но совершенно не о том идет речь в нынешней полемике между политико-экономом старой школы и социалистами или коммунистами. Тут сравниваются различные формы собственности, из которых каждая несравненно лучше и неурядицы, и арендаторства, и наемного труда, и принудительного труда, но которые между собой неравны экономическим достоинством. Если прилагать без всякой критики к одной из этих форм, к частной собственности, все те безусловные похвалы, какие справедливо принадлежат общему понятию собственности в противоположность безурядице или арендаторству, а на другую форму собственности без всякой критики переносят все укоризны, применяющиеся к шаткому или беспорядочному быту, в котором эта форма не

имеет ничего сходного, то спор становится фальшив. Тут происходит точно такая же история, как, например, в следующем случае. Вообразим, что написана книга для людей, не знающих хорошо и выгодная вещь он. Все похвалы законному порядку и все укоризны непохожим на него общественным состояниям будут совершенно справедливы в этой книге, написанной с такою мыслью. Но вот люди, совершенно убежденные в необходимости и пользе твердого законного порядка, начинают рассуждать о законах и находят, что некоторые законы некоторых стран неудовлетворительны, — ведь это уже совершенно другой предмет речи. И вот им начинают доказывать, что вообще твердый законный порядок — вещь нужная и полезная, — умны ли такие возражения? Нимало не умны, потому что нимало не относятся к делу.

<44>. Бельгия служит, по словам Милля, «решительнейшим примером» прекрасных действий мелкой поземельной собственности. Посмотрим теперь, каков размер факта, делающего Бельгию такой образцовою землею, и как велико влияние этого факта на благосостояние земледельческого класса в Бельгии. Вот отрывок из статистического обозрения Бельгии, напечатанного в «Unsere Zeit» (т. II, стр. 312 и след.):

«Официальная статистика оценивает земледельческий продукт Бельгии <в> 1 000 млн. франков. Вычитаем 5<-ю> долю на семена, на ремонт орудий и строений; остается 800 млн. фр. земледельческого дохода. Земледельческое население Бельгии составляет 2 220 714 человек. Как распределяются между ними эти 800 млн. франков?

За 27 564 716 мужских рабочих дней средним числом по 1 фр. 13 сент. и за 14 623 291 женских рабочих дней средним числом по 70 сент. собственники платят земледельческим поденщикам и поденщицам 41 387 774 фр. \*.

Содержание и плата 107 303 годовым работникам... 42 921 200

Содержание и плата 69 723 годовым работницам... 13 944 600

Итого . . . 98 253 374 фр.

Положим круглым числом 100 млн. франков. Итак, из 800 млн. фр. за наемную работу получается 100 млн. А в Бельгии находится 1 232 828 человек, живущих земледельческою наемною платою. Значит, в этом классе людей доход простирается до 81 фр. на человека в год или по 22 сентима в день».

Между тем, разделяя 800 млн. на 2 220 714 человек всего земледельческого населения, мы получаем средний доход 360 фр. 25 сент. в год или 98,7 <сент.> в день.

Из 2 220 714 чел. 1 232 828 чел. составляют 55,4%.

\* Итог не совсем точен. Нужно: 41 384 432 фр. — Ред.

Таким образом более половины земледельческого населения (пять девятых частей его) должны жить наемною платою, которая дает им в четыре с половиною раза меньше, чем оказывается средний доход на человека в земледельческом населении.

Таково действие частной поземельной собственности на доход и на официальное название людей земледельческого класса в стране, которую Милль называет образцовой. Только меньшая половина земледельческого населения удостоивается счастья называться поземельными собственниками, а большая половина должна оставаться наемными работниками. Полагая семейство состоящим из 5 человек, мы видим, что по среднему выводу для всего земледельческого населения на каждое семейство приходилось бы средним числом по 1 800 фр. Семейство поселян с таким доходом пользуется в Бельгии благосостоянием. Но на самом деле более половины земледельческих семейств получает средним числом только по 405 фр.; по бельгийской ценности денег это значит, что они живут в нищете.

Но нечего говорить об этой большей половине земледельческого населения, лишенной удовольствия хотя по имени участвовать в благотворных результатах поземельной собственности. Посмотрим на распределение поземельной собственности в той меньшей половине земледельческого населения, которая титулуется классом поземельных собственников, или по крайней мере классом самостоятельных хозяев, берущих землю на аренду у собственников. Автор статьи разделяет эту половину на три группы: первая получает дохода меньше средней цифры, дающей 1 800 фр. на семейство, и живет или в нищете, или в бедности. К этой группе принадлежат из 1 000 человек 845. Вторая группа получает от 1 800 фр. до 3 700 фр. и живет в благосостоянии или с избытком; к ней принадлежат из 1 000 человек 75. Третью группу составляют люди богатые, которых насчитывается из 1 000 человек 80.

Таким образом и в той меньшей половине земледельческого населения, которая не исключена из участия в благах собственности, 85%, то есть  $\frac{6}{7}$  частей, положительно теряют от нынешнего устройства поземельной собственности в Бельгии.

Сведем все эти счета в один. Из 10 000 человек земледельческого населения при том образцовом устройстве частной поземельной собственности и частного земледельческого хозяйства, какое мы видим в Бельгии,

теряют все . . . . .	5 640 человек
теряют почти все или очень много . . . . .	3 760 —
не теряют ничего или даже несколько выигрывают . . . . .	334
Очень много выигрывают . . . . .	356

Итого 10 000 человек \*

\* Таблица не сходится с предыдущими расчетами, и итог в ней неверен. — Ред.

Соединяя две первые и две последние группы, мы получим тот вывод, что от образцового бельгийского устройства все или много теряют 931 человек из 1000 человек земледельческого населения, или 14 человек из 15, а выигрывают 69 из тысячи, или 1 человек из 15.

Мы показали разбором генеалогических таблиц<sup>42</sup>, что такой результат лежит не в каких-нибудь частных особенностях бельгийского быта, а в самой сущности принципа частной собственности. Особенности той или другой страны могут лишь несколько и притом очень немного видоизменить эту пропорцию, — например, вместо отношения 14 к 1 порождать отношение 20 к 1, или 30 к 1, — это будет влияние особенно дурных обстоятельств; или, наоборот, порождать отношение 10 к 1, даже быть может 7 или 6 к 1, эти обстоятельства особенно счастливые; но общий смысл пропорции во всех случаях один и тот же: огромное большинство проигрывает.

Кстати о Бельгии. Милль полагает, что бельгийский пауперизм свирепствует почти исключительно в городах между фабричным населением. Нет, он тут лишь заметнее, потому что ближе к наблюдателям, к поэтам, публицистам и ораторам. А положение сельского населения в Бельгии не лучше, чем городских простолюдинов. Это доказывается статьей «Unserer Zeit», отрывки из которой мы приводили. Да оно и везде так. Если бы простолюдину городская жизнь была хуже сельской, то простой народ переселялся бы из городов в села. А во всей Европе мы видим постоянный прилив из сельского населения в городское, стало быть, говоря вообще, простолюдину лучше жить в городе, чем в селе, и судьба мастерового или фабричного работника, какова там ни была она, все-таки лучше судьбы хлебопашца.

44<45>. В этом случае сила, оказываемая собственностью, составляется из двух элементов: из денежного расчета и из личной привязанности к месту. Обыкновенно выставляют только первое из этих двух побуждений; но оно играет важную роль только в улучшениях не очень долговременных, дающих скорую выручку на затраченный капитал. Чтобы узнать, велико ли с этой стороны преимущество личной поземельной собственности над общинным владением с довольно длинными сроками передела, мы должны сравнить, какой процент погашения нужен для выручки капитала в срок от 10 до 15 лет, которые проходят между переделами при общинном владении, и в срок от 25 до 30 лет, то есть в обыкновенный период смены одного поколения другим в управлении земледельческим хозяйством (кто затрачивает капитал на улучшение с намерением выручить весь капитал, тот, конечно, не рассчитывает срок выручки дольше вероятной продолжительности собственного управления делом).

Если проценты, считаемые на самый капитал, не велики, то

разница выручки, нужной для погашения капитала в 15-летний срок и в 30-летний срок очень чувствительна. Если, например, мы будем считать собственно процентов на капитал 3 на 100, то величина ежегодной выручки, нужной для погашения капитала, будет:

при 15-летнем сроке около 8 р. 40 коп. на 100 руб. капитала  
» 30 » » » 5 р. 10 коп. » »

8 р. 40 к. — сумма, больше чем на половину превосходящая сумму 5 р. 10 к.

Если мы будем считать собственно процентов по 10 на 100, то величина ежегодной выручки, нужной на погашение капитала, будет:

при 15-летнем сроке около 13 р. 10 коп. на 100 руб. капитала  
» 30-летнем » — 10 р. 60 коп. — — — —

Разница между 13 р. 10 к. и 10 р. 60 к. не составляет и четвертой части суммы 10 р. 60 к.

Очевидно, что улучшения, требующие выручки в 8 р. 40 к. на 100 затраченных рублей, гораздо больше разнятся от улучшений, требующих только выручки 5 р. 10 к. на такую же сумму, чем улучшения, требующие выручки в 13 р. 10 к., разнятся от улучшений, требующих выручки в 10 р. 60 к. на такую же сумму.

Из этого мы видим, что если величина процента низка, то при вероятности владеть имуществом лет 30 будут казаться выгодными для владельца многие такие улучшения, которые показались бы ему недостаточно выгодными при вероятности владеть имуществом только лет 15; а при высокой величине процентов почти все те улучшения, которые кажутся владельцу недостаточно выгодными при вероятности владеть имуществом только 15 лет, покажутся ему тоже недостаточно выгодными и при вероятности владеть имуществом 30 лет.

Но мы уже знаем, что серьезной работы о долговременных улучшениях можно ждать только от мелких владельцев, а не от крупных. А у мелких владельцев наличные средства невелики и кредит мал; потому значительнейшую долю своего капитала они принуждены оставлять в виде оборотного капитала и сообразно этому преобладанию расчетов, свойственных оборотному капиталу, они смотрят и на ту долю, которую могли бы затрачивать в основной капитал. А оборотный капитал дает проценты очень высокие (потому что он всегда требует значительной страховой премии); потому и в основной капитал они обращают часть своих средств только при ожидании таких же очень высоких процентов от этой доли.

Переведем эти отвлеченные соображения на житейский язык.

Положим, что у мелкого владельца завелось несколько лишних денег. Он скорее употребит их на покупку прибавочной лошади или лучшего плуга, чем на какое-нибудь прочное улучшение почвы. При первом употреблении его деньги, конечно, очень рискуют совершенно погибнуть — лошадь может пасть, плуг изломаться; но помимо этих несчастных случаев скорая выручка тут гораздо значительнее, чем от прочного улучшения почвы, в котором риска гораздо меньше или вовсе нет. На подобные вещи мелкий владелец станет употреблять деньги только в тех исключительных случаях, когда можно ждать от них такой же большой выручки, как от покупки лошади.

Таким образом высота процентов, на которую и привык рассчитывать и по незначительности своего капитала принужден рассчитывать мелкий владелец, почти уничтожает разницу в размере тех прочных улучшений, какие он станет производить по расчету денежной выгоды при вероятности владеть имуществом только 15 лет и при вероятности владеть им 30 лет.

Иначе сказать: насколько земледельческие улучшения зависят от стремления отдельного человека к денежной выгоде, нет большой разницы между частною собственностью, находящеюся в наивыгоднейшем из возможных для нее положений, и между общинным владением с продолжительными сроками передела, хотя бы при переделе и не вознаграждался владелец за сделанные им улучшения в случае выхода участка по переделу из его рук. Если же дается это вознаграждение, то общинное владение становится лучше частной собственности в отношении благоприятности стремлению отдельного человека к производству улучшений по расчету денежной выгоды. Тут он знает, что его капитал, затраченный им на прочные улучшения, всегда будет выручен, в чем не может быть уверен при частной поземельной собственности, которую можно потерять вместе с затраченным на нее капиталом и вследствие какого-нибудь непредвиденного процесса, и вследствие случайного несчастья, подвергающего банкротству, и при всякой перемене обстоятельств, заставляющих владельца прекратить личное заведывание хозяйством и передать собственность арендатору, который мало заботится о сбережении капитала, затраченного в землю хозяином-собственником.

Но кроме расчета на прямую денежную выручку возбуждает человека к занятию долговременными улучшениями другой мотив, который поверхностные или идеализирующие писатели называют бескорыстною привязанностью к предмету, с которым сжился человек. На самом деле эта привязанность вовсе не бескорыстна: она точно так же происходит из эгоизма, как и денежный расчет, только эгоизм принимает в ней другую форму. Улучшение предмета, с которым связан я жизнью, есть улучшение моей собственной жизни. Если у человека есть уверенность,

что никакая внешняя случайность, не зависящая от его воли, не может разорвать его связи с известным предметом, привязанность к предмету становится в нем очень сильна. Самый энергичный вид этой привязанности — так называемое корпоративное чувство, — чувство чисто коммунистическое. Всем известна чрезвычайная сила привязанности людей к пользам корпорации, из которых никто и ничто не может изгнать их без их желания. Знаменитыми примерами тому служат римский сенат, правительственные венецианские советы, английская палата лордов. Кажется, какую денежную выгоду приносит лорду забота о правах палаты? Ведь ни одного шиллинга не получит он прямо в руки, если сохранятся ее права, ни одного шиллинга не потеряет прямо из рук, если они уменьшатся. А между тем он не жалеет ни времени, ни труда, ни денег, чтобы поддерживать ее значение. Это потому, что могущество палат отражается и на нем. Надобно сказать, что прямая денежная выгода отдельного лица от заботы о его частных делах далеко не так последовательна, неотступна, как собирательная заботливость корпорации о ее коллективных выгодах. Совершенно такое же чувство, как в палате лордов, должно развиваться во всякой общине, в которой благосостояние членов зависит от хода дел целой общины и в которой члены пользуются наследственным правом быть ее членами. Если говорить только о частном факте, занимающем нас здесь, о прочных земледельческих улучшениях, то при подобных правах членов общины существуют в ней для прочных улучшений условия гораздо благоприятнейшие, чем при частной поземельной собственности. Наследственность в ней совершенно прочна, а неотступность коллективной заботы совершенно ограждает начатое дело от перерывов и небрежностей, соединенных с индивидуальными случайностями. Потому расчетливость простирается тут на время гораздо продолжительнее, а исполнение предположенных улучшений ведется гораздо последовательнее, чем при случайной смене владельцев, при частной собственности.

45<46>. Совершенно справедливо то, что быт поселян-собственников, какой существует теперь в некоторых странах, представляет больше гарантий против чрезмерного размножения, чем сколько находится в других формах нынешнего земледельческого быта. Но дело в том, что поселяне-собственники, каких мы знаем, принадлежат патриархальному устройству общества, исчезающему повсюду, куда проникает новая коммерческая жизнь. Мелкие земледельческие хозяйства могут держаться только, пока не прикасается к ним торговая конкуренция, все равно как мелкие мастерские хозяева держатся только в тех занятиях, за которые еще не берется фабричный способ производства. В прибавлении к главе о большом и малом хозяйстве мы замечали, что земледелию приходит пора преобразоваться из патриархальной деятельности в коммерческую на континенте



Европы, как уже преобразовалось оно в Англии. Да и независимо от уничтожения поселян-собственников при системе частной собственности коммерческим духом, захватывающим земледелие, нельзя рассчитывать в будущем на силу обычая, которым до сих пор сдерживалось чрезмерное размножение в классе поселян-собственников. Обычай повсюду ослабляется успехами цивилизации, которая дает самостоятельность индивидуальному лицу, так что оно в своих чувствах и действиях все больше и больше руководится собственными побуждениями, а не формами, налагаемыми извне.

46<47>. Таким образом самая частная собственность обнаруживает свою несообразность с условиями сельского хозяйства: слепое действие принципа наследственности и принципа продажи и покупки дробит землю так, что нужным становится искусственным способом склеивать участки, нужные для хозяйства.

47<48>. Форма землевладения в Ост-Индии представляет сходство с нашею, да и сама история больших поместий в той или другой стране имеет столько одинакового, что не бесполезно будет русскому читателю поближе познакомиться с этою стороною индийского устройства, и в конце главы мы помещаем извлечение из этой статьи об этом предмете, напечатанной в «Westminster Review», 1859, july (The government of India).

Извлечение из статьи «Westminster Review» о поземельной собственности в Ост-Индии.

Едва ли в чем-нибудь различие между разными странами так велико, как в законах поземельного владения. Да и в каждой стране эти законы изменяются по разным историческим периодам. Но если мы сравним нации в соответствующих периодах развития, то найдем, что, несмотря на эти различия, законы поземельного владения оказываются существенно одинаковы для стран, находящихся на одинаковой степени развития. Одинаковость их происходит из общего убеждения, что земля не должна принадлежать частным лицам, а принадлежит государству. Земля древнего Египта принадлежала царю. Жрецы рассказывали Геродоту, что Сесотрис (Рамзес II) «разделил египетскую землю между жителями, назначив каждому квадратный участок одинаковой величины, и главный свой доход получал от ренты, ежегодно платимой ему владельцами». В еврейской теократии частным лицам не было предоставлено иметь землю в неотъемлемой собственности. По книге Левит бог повелев Моисею, чтобы дети израилены соблюдали субботу через каждые седмицы семь лет и чтобы при наступлении этого полувекового юбилея личная поземельная собственность кончалась или *прекращалась*. *Не определено ясно, кому возвращалась земля*, но что она не могла отчуждаться в вечную собственность, ясно показывают слова: «земля не должна быть продаваема навсегда:

потому что земля Моя; потому что вы пришельцы и гости у Меня» (кн. Лев., гл. 25, ст. 23). В древней Персии царь считался единственным собственником земли, да и теперь почти весь государственный доход получается с обширных государственных земель. Можно сказать, что вообще в Азии почти вся земля принадлежит царю или главе государства. У немецких наций, когда они уже были земледельческими, все еще долго не существовало и самого понятия о частной поземельной собственности. Земля принадлежала вся племени или народу, а не отдельному лицу; общественная власть ежегодно производила передел земли. Когда германцы завоевали Римскую империю, они разделили землю на участки трех родов: одни были отданы королю, другие духовенству, третьи воинам, то есть дворянству. Хлебопашцы платили ренту этим владельцам, но вообще ясно сознавали принцип, что земля принадлежит государству, а не частному человеку. Помещики, получавшие ренту, были должностные лица и получали ее как жалование за службу. Городские земли принадлежали городским общинам. Коронные земли не были личною собственностью короля, и он не мог отчуждать их. Церковные земли также были общественные, и духовенство получало их как жалование за свою духовную службу. Притом же епископы и аббаты, подобно баронам, были обязаны содержать воинов со своих поместий на службу королю. Поместье барона было у него только в пожизненном владении, он не мог продать его. Все эти владельцы получали землю от короля с особенною формальностью (*homagium*), означавшею, что земля — общественная собственность и что они обязаны нести за нее различные общественные службы. От этого устройства единственными следами в Новой Англии остаются обязанности землевладельца бесплатно отправлять обязанность мирового судьи и быть шерифом; остатки эти, повидимому, неважны, но они показывают, что английский закон не покинул принципа, что поместье есть жалованье, даваемое государством. Отчуждение коронных земель было делом незаконным, и парламенты постоянно протестовали против него. По старым английским законам дворянин не мог продавать землю. Но со времени Крестовых походов многие хотели обратить землю в деньги; а богатые купцы желали приобретать поместье и вместе с феодальными владельцами старались сравнять землю с другими видами собственности. Полученная таким образом поземельная собственность выражается между прочим в праве прогонять с земли на ней живущих. Но в этом результате безусловной частной поземельной собственности обнаруживается и ее противоположность и ее безнравственность: мы знаем, что владелец графства точно так же не имеет нравственного права выгонять его жителей, как владелец рабов убивать их. Мы думаем, что никто в Англии не признает за владельцем раба права убивать его раба; но отрицать

у него это право значит отрицать его право собственности над рабом. Обычай нового времени приучил людей в Англии и в Шотландии к понятию, что земля может быть предметом торговли и такой же безусловной собственности, как другие товары; отсюда логически вышло признание права владельца земли прогонять с нее жителей, и большие землевладельцы осмеливались в наши времена пользоваться этим правом. Но их дерзость привлекла внимание политико-экономов, обратила его <их?> к исследованию о правах поземельной собственности и подверглась сомнению основательность прав, которые присвоили себе землевладельцы.

«Сколько я знаю, — говорит Ньюман, — прогонять жителей — дело, явившееся очень недавно. Мы считаем его ирландскою особенностью. Но едва ли когда совершалось так нагло, так беспричинно и так безжалостно, как в сутерландских поместьях Северной Шотландии в начале нынешнего века. С 1811 по 1820 год 15 000 человек были выгнаны с земель только маркизы Стаффорд; все их деревни были сломаны или сожжены, а пашни их обращены в пастбища<sup>43</sup>. То же самое около того же времени сделали семь или восемь соседних лордов. Люди были прогнаны, чтобы очистить место овцам, — кто-то, видите ли, внушил этим большим землевладельцам, что овцы доходнее людей! Это чудовищно... А общество смотрит и скорбит, что они так немилостиво распоряжаются своей *собственностью*! Коренная ошибка именно в этом грубом и чудовищном представлении, что земля, данная богом нашей нации, составляет или может составлять чью-нибудь собственность. Это узурпация, точно такая же, как невольничество».

В своем трактате «Social Statics» Герберт Спенсер<sup>44</sup> проводит тот же взгляд. «Мы видим, говорит он, что право человека пользоваться землею необходимо опровергает частную поземельную собственность; что теория сонаследничества всех людей на землю согласна с высшею цивилизацией; и что как бы ни трудно было осуществить эту теорию на деле, справедливость упорно требует того» (после этого автор приводит мнение Милля, говорящего в том же духе, — см. наш перевод, кн. II, гл. 00, — и продолжает). Соображая все это, мы полагаем, что не подлежит спору принцип: земля принадлежит нации как одному целому, и распорядителем ее может быть только государство как поверенный народа, обязанный употреблять ренту исключительно на пользу этого единственного законного владельца. В Европе оттенок этого принципа виден во многих постановлениях. Землевладельцы получили свои поместья в жалование за обязанность отправлять военную службу; то, что парламент имеет право экспроприации, то есть право брать землю у владельца против его воли (за денежное вознаграждение), все признают бесспорным. Помня, что английская жизнь в новое

время основывается на предположении, будто частные лица имеют право вечной наследственной собственности на землю, хотя формально признается противоположный принцип государственной поземельной собственности, мы откровенно говорим, что в Англии практическое осуществление мысли о принадлежности земли и ренты государству дело очень трудное. Но если эта мысль верна, то наврное осуществима. Время это, может быть, далеко, и перемена, быть может, пойдет с такою постепенностью, что не ознаменуется никаким историческим сотрясением; но учреждения, не основанные на справедливости, существуют только по временному допущению; они, как осуждаемые разумом, обречены на уничтожение, и чем глубже прошли они в жизнь народа, тем больше надобно жалеть о том и тем тяжелее и опаснее будет дело восстановления справедливости. Из этого мы заключаем, что великое благо для страны, когда она без серьезной ломки существующих отношений, без нанесения больших потерь какому бы то ни было классу, может перестроить или устроить свое поземельное владение сообразно единственному справедливому основанию, на котором только и может существовать прочное устройство, и что во всякой стране правители при определении поземельных отношений должны по возможности близко держаться этого принципа. В Индии со времени Варрена Гастингса до сих пор поземельное устройство было и остается предметом, над которым ломают головы англо-индийские правители. К счастью для миллионов, составляющих англо-индийскую империю, большая часть их земель находится в таком положении, что правительство может навсегда оставить за собой собственность земель в пользу жителей, не производя ни политического, ни общественного сотрясения и не делая большого убытка ни одному частному лицу. При нынешнем положении индийского землевладения неисчислима важность и благотворность практического признания того принципа, что земля принадлежит исключительно правительству, и тот английский министр индийских дел, который решит поступать с индийскими землями по этому принципу и станет прилагать его во всех возможных случаях, приобретет себе вечную благодарность сонма наций.

Лучшие сановники Ост-Индской компании<sup>45</sup> долго спорили между собой о том, кто были собственники земли в Индии при гиндусском и мухаммеданском правлении. Нам кажется несомненно, что собственность эта практически принадлежала царствующим государям. По словам Томпсона, «часто находятся несомненные следы тому, что существовала поземельная собственность у частных лиц; но государю принадлежало право на часть продукта этих земель, и не было никакого предела этой части; потому государь практически был собственником земли настолько, что мог исключать всякое другое лицо от пользова-

ния всем чистым доходом, когда хотел». Древнейшие известия об индийском землевладении показывают, что земля была отдана государем в пользование сельским общинам, независимым друг от друга и имевшим почти все необходимые условия самоуправления. Каждая сельская или городская община владела округом земли и была маленькою республикою, жители которой пользовались землею по общинному принципу. Главные начальники в ней были: пателль (староста), общий правитель ее дел, решавший споры, собиравший доходы и уплачивавший их царскому чиновнику; чонгула, помощник пателля, и кулькурна (казначей). Земледельцам принадлежала половина продукта с пашней, не требовавшей искусственного орошения, и около двух третей с пашней, требовавшей его. Перед жатвою количество урожая свидетельствовалось искусными таксаторами при жителях, и таким образом определялась следовавшая правительству часть, которая выплачивалась натурой или деньгами. С огородов требовалось гораздо меньшая доля. С течением времени интересы пателля слились с интересами деревни, представителем которой в сношениях с правительством стал он. Но из законов Ману видно, что первоначально он был слугою царя, «господином одного города», получавшим за свою службу «пищу, питье, лес и другие вещи», которые обязан был город давать царю. Это обстоятельство служило новым доказательством того, что в древнейшие времена земля считалась принадлежащею царю.

«В этой простой форме муниципального правления жило население страны с незапамятных времен, говорит Милль (отец переводимого нами автора, написавший историю Индии). Их не касалось распадение и разрушение царств; пока деревня оставалась цела, им было мало нужды до того, под какую власть она переходит и кто царь». Деревенские общины были неразрушимые атомы, составлявшие царства. Они остаются целы, когда все исчезает. Династия за династией падает. Гинду, патан, монгол, маратт, сейк, англичанин поочередно господствуют над страной<sup>46</sup>, но деревенские общины существуют без перемен. В большей части Мадрасского президентства их теперь нет, но видно, что они существовали и там. Во всех других частях Индии, даже в Бомбейском президентстве, где ныне система землевладения очень переделана по мадрасскому примеру, они более или менее сохранили свою целость. Их не коснулись мухаммеданские завоеватели, которым и не новы были такие учреждения: следы их еще остаются в древней Персии, и в странах по Оксу они существовали в VIII веке нашего летоисчисления. В дополнение к сведениям о количестве продукта, отдававшегося царю, приведенным нами из Милля (отца)<sup>47</sup>, заметим, что, по словам могольского императора Акбара, гиндусские цари брали шестую часть продукта и что по законам Ману они могли брать еще шестую часть в случаях крайней нужды. Но в практике,

гиндусские цари редко следовали духу законов Ману<sup>48</sup>; обыкновенно делалось при них так: по сборе всего продукта вычиталась известная часть для деревенского начальства, остальное делилось между царем и землепашцами, и царю отдавалось от третьей доли до половины.

По мухаммеданскому закону «каждая страна, покоренная оружием и пожалованная жителям ее, не принимающим веру ислама, есть земля хираджа, и каждая земля, покорившаяся мирным подчинением джизьюту, есть также земля хираджа». Хирадж есть поземельная подать, а джизьют — поголовная подать. Хирадж считался в одну шестую, или одну пятую, или даже одну четвертую часть поземельного продукта; но при этом не различалось качество почвы, и в приложении к скудным почвам хирадж был не легче гиндусской подати, бравшей половину из продукта за вычетом жалованья деревенскому начальству.

Но император Акбар, отличавшийся веротерпимостью и потому расположенный к своим гиндусским подданным, отменив джизьют и другие дополнительные налоги, установил общий поземельный налог в третью долю продукта с земли среднего качества; доля эта оценивалась на деньги по средним ценам за 19 лет, и землепашцам было оставлено на выбор платить налог натурой или деньгами. По смерти Акбара восстановились джизьют и другие подати. Мы не будем перечислять изменения в их размере; заметим только, что в грамотах, которыми они определялись, нет никакого указания на лица, которые были бы собственниками земли. Император продолжал считаться единственным собственником ее. По распадении империи Моголов на отдельные владения это право перешло к местным государям. Когда их царства были завоеваны Ост-Индскою компаниею или английским правительством, эта новая власть вступила во все права прежней. Потому мы думаем, что за исключением тех случаев, когда право поземельной собственности было положительно отчуждено английским правительством, оно остается за ним. Мы знаем, что противоположное мнение имеет жарких защитников; но мы доказали, что за исключением, упомянутым нами, англо-индийское правительство должно считаться собственником подвластных ему в Ост-Индии земель. Не будем спорить о словах: все равно как бы ни называли вы право извлечения доходов из этой собственности, — поземельным ли налогом или рентой, но если этот доход равняется ренте, какую могли бы получать частные землевладельцы, правительство в сущности все-таки собственник земли и, устраивая национальные сооружения для увеличения ценности земли, оно само признает за собою обязанности землевладельца.

Английские правители Ост-Индии очень долго не могли понять ни прав, ни обязанностей правительства при этом поземельном устройстве, столь различном от нынешнего анг-

лийского. Потому в некоторых местах (особенно в Бенгалии) они признали землевладельцами людей, которые были на самом деле только сборщиками ренты в пользу правительства, приняв, что эти люди (земиндары) только платят налог с своей собственности, они предоставили им извлекать из этой мнимой собственности весь доход, какой могут, требуя только, чтобы они продолжали платить правительству сумму, раз навсегда определенную; с течением времени рента этих земель увеличивалась, и все ее нарастание остается в руках этих мнимых собственников, сделавшихся таким образом из чиновников помещиками; по расчету автора статьи, английское правительство в Ост-Индии лишается теперь через это 8 млн. ф. (50 млн. руб.) дохода, совершенно напрасно подаренного людям, не имевшим никакого права на него. В других местах были точно так же признаны собственниками предводители военных отрядов, управлявшие округами и опять-таки не имевшие никакого права собственности над управляемыми землями. Все это произошло от того, что английские правители никак не могли понять, что лица, вносящие поземельный доход в казну, только должностные лица, а не собственники, и вносят не налог от своих поместий, а ренту, доставляемую государственною землею. Не поняв разницы этого дохода от английского поземельного налога, правители не считали себя имеющими власть пересматривать основания, по которым он взимается; от этого произошло, что требуемая сумма осталась совершенно не пропорциональна ренте, даваемой и теми землями, от собственности над которыми правительство не отказывалось (не отказывалось только по невозможности отыскать лица, которые удобно было бы хотя ошибкою провозгласить помещиками). Одни области, имевшие алчных раджей, остались обременены чрезвычайными поборами и по низложению этих прежних государей; в других областях завоевавшему генералу или первому губернатору не вздумалось разыскать, может ли правительство продолжать сбор ренты, о котором не имел он понятия, и до сих пор эти деньги собираются бог знает кем, неизвестно по какому праву, а казна не получает ничего. Правильное понятие об Ост-Индском поземельном устройстве английские правители приобрели только в недавнее время, когда были приобретаемы ими северные части Гиндустана, и только в этих областях, лежавших за пределами трех старых президентств (бенгальского, мадрасского и бомбейского), установлено порядочное управление землею: она обложена рентою, которую земледельцы могут платить без обременения, так что положение народа в этих провинциях лучше, чем в приобретенных прежде, а казенный доход не отдан понапрасну людям, не имеющим на него никакого права. Пространство этих так называемых «северо-западных провинций» около 115 000 квадратных английских миль (около 5 500 квадр. географ. миль). Рента, получаемая с

них английским правительством, составляет около 4 650 000 ф. (около 9 млн. р. сер.), то есть около одного рубля сер. с десятины. Каждому понятно, что такая рента не обременительна для хлебопашцев, не платящих ничего никаким собственникам. Но эти провинции составляют по своему пространству только одну осьмую часть земель, принадлежащих в Ост-Индии английскому правительству. Если бы вся остальная Индия была приведена к такому же устройству, английское правительство получало бы доход с земли более 37 млн. ф. дохода, а теперь весь доход его с земли составляет около 16½ млн. Таким образом более 20 млн. ф. ст. — около 130 млн. руб. сер., — казенного поземельного дохода пропадают бог знает зачем, бог знает куда, а народ обременен поборами до того, что в большей части провинции нищенствуют. По мнению автора статьи, надобно английскому правительству в Ост-Индии только привести в порядок свои поземельные права, чтобы уничтожился дефицит в индийских финансах, получена была возможность погасить сделанный государственный долг и чтобы с тем вместе началась для индийского народа эпоха благосостояния. Вот заключение статьи:

«Мы говорим, что поземельная собственность принадлежит исключительно государству, что правительство не имеет права отчуждать ее навечно, и то возрастание ценности, которое дают земле причины, независимые от владельца, — например, общее возрастание населения, — также принадлежит государству; далее мы говорим, что из этого взгляда логически вытекает обязанность не делать вперед никакого отчуждения поземельной собственности ни продажою, ни разрешением так называемого выкупа «поземельной подати», то есть ренты, а отчужденные земли возвратить выкупом от частных владельцев по рыночной цене; возвратить их надобно как можно скорее, потому что, очевидно, чем больше отлагается эта покупка, тем больше денег надобно будет платить, а если земли будут куплены теперь, то все последующее возрастание ценности будет принадлежать государству. Мы с удовольствием замечаем, что в северо-западных провинциях уже признан этот принцип, что все естественное возрастание ценности земли, независимой от улучшений, делаемых владельцем, принадлежит государству.

Другое чрезвычайно обильное средство увеличить поземельный доход правительства состоит в том, чтобы оно само занялось производством земледельческих улучшений, из которых в Индии особенно важны работы для орошения полей. Будучи на практике собственником индийской земли, но подчиняясь влиянию противоположной европейской идеи, что лучше было бы сделать нынешних владельцев земли ее безусловными собственниками, английское правительство в распоряжении национальными работами обнаруживало до сих пор всю нерешительность и шаткость, неизбежно проистекающую от колебания между



двумя несогласимыми принципами. С экономической точки зрения очевидно обязанность землевладельца делать все возможное для улучшения поместья, чтобы получать с него как можно больше ренты. В стране, плодородие которой более всего зависит от хорошего орошения, эта обязанность особенно настоятельна, потому что многие поместья снабжаются водой из одного источника, и частные владельцы их порознь не могут ничего сделать; когда они не умеют соединиться для общего дела, то необходимо, чтобы им содействовало само правительство. То же самое должно сказать о каналах и дорогах. Туземные государи сами предпринимали такие работы. Англо-индийское правительство вызывало на их совершение частную предприимчивость и до того не желало признать на себе обязанности национального землевладельца, что хотя и было принуждено против собственной воли исполнять их, не хотело до нынешнего десятилетия устроить особенное управление публичных работ, а поручало свои работы военным комиссиям. В 1854 г. был, наконец, образован в Ост-Индии департамент публичных работ, и с той поры употребляется от 2 до 2½ млн. фунтов ежегодно на публичные работы, значительную часть которых составляют дороги, мосты и оросительные сооружения. Но до какой степени правительство все еще хотело бы оставить это дело частной предприимчивости, видно из того, что оно дарит компаниям индийских железных дорог землю для их постройки и приняло на себя гарантию выдачи их акционерам 5% дохода на 40 млн. ф. капитала, выговорив себе только долю прибыли, когда дивиденд будет выше 5%. Подобная частная предприимчивость кажется нам более мнимой, чем действительной. Это лишь маска, под которою правительство работает на собственные деньги. То, что оно работает, мы одобряем; но мы жалеем правительство; давая землю и гарантию, то есть капитал, <оно> отказывается от собственности, которую в сущности создает оно само; и эти ненормальные товарищества между правительствами и частными компаниями, в которых весь риск на стороне правительства, а вся прибыль на стороне компаний, мы считаем признаком переходного состояния. Когда будет вполне признан принцип, что земля страны принадлежит народу как одному целому, то устройство каналов и орошения в гигантском размере, нужном для Ост-Индии, будет считаться одной из тех немногих важных обязанностей, которые должны лежать на правительстве, ограниченном сферою надлежащего своего действия.

Косвенная выгода, получаемая нацией от сооружения дорог и каналов, гораздо больше прямой выгоды, доставляемой платою за проезд и провоз по ним; это свидетельствуется чрезвычайным оживлением земледельческой и торговой деятельности и быстротою успехов цивилизации в Европе и Северной Америке от постройки железных дорог. Но частные люди, на деньги которых

построились эти дороги, получили вместо прибыли на свой капитал невознаградимую потерю сотен миллионов фунтов, а многие из них, бывши богатыми, разорились. Соперничество в этом деле не полезно, а вредно. Если две железные дороги идут по одним местам, акционеры обеих разоряются. Чем внимательнее мы рассматриваем вопрос, кто должен строить общественные сооружения, тем яснее представляется нам ответ, что это обязанность правительства.

Выгода подобных сооружений в Ост-Индии подтверждается следующими цифрами. С 1836 до 1849 г. работы для орошения полей в Мадрасском президентстве, за вычетом всех издержек постройки и ремонта, увеличили доход казны на 415 тыс. фунт. Работы по Годавери, стоившие 188 тыс. фунт., увеличили доход казны на 365 тыс. ф., а доход землевладельцев на 5 млн. ф. ежегодно. Восточно-Доабский канал, стоивший всего около 640 тыс. ф., увеличил доход орошенных им земель на 2½ млн. ф. Можно было бы наполнить целые страницы такими фактами. Но если правительство берет на себя издержки и риск подобных работ, то оно не имеет права отказываться от прибыли, ими приносимой. Нам кажется, что правительство поступило <бы> благоразумнее, если бы вместо того, чтобы гарантировать 5% на капитал в 40 млн. ф., употребляемый для постройки железных дорог в Индии, само заняло бы эти деньги, построило бы дороги и сделалось бы собственником их.

Присоединив Индию к Британскому государству, мы приняли на себя ответственность пред 184 млн. человек за их политическое состояние. До последнего времени наши налоги во многих частях Индии были обременительны до того, что держали большинство народа в бедности и невежестве. Несмотря на то, в наших ост-индских финансах обыкновенно оказывается дефицит. Угрожающая перспектива постоянного возрастания долга делает необходимостью пересмотр принципов, по которым собирается в Индии поземельный доход. Земля каждой нации принадлежит всему ее народу: этот справедливый принцип с незапамятной древности признавался и ныне признается в Ост-Индии; наше индийское <английское?> правительство должно принять его. Оно должно прекратить всякое дальнейшее отчуждение своего права собственности на землю, не должно ни отдавать, ни продавать ее, не должно принимать выкупа поземельного налога. А там, где право собственности на землю уже отчуждено правительством, оно немедленно должно быть выкуплено по рыночной цене, если права нынешних собственников окажутся основательными. Если правительство станет действовать как верховный собственник земель, оно может управлять национальным собственностью так, что в скором времени поземельный доход его превысит все расходы. Владельцы обширных земель в Индии, называемых экамами (поместьями) и другими именами и не пла-

тящих ренты, большей частью захватили эти земли без всякого законного основания. Если эти захваченные казенные земли будут обложены рентой, которую должны платить, дефицит от одного этого уже исчезнет, потому что теперь зато налог чрезмерно тяготеет над другими землями, которые теперь поэтому и лежат невозделанными; когда он распределяется равномерно, эти земли будут облегчены, и возможность возделывать их обогатит страну и казну».

45<49>. «Большие хозяйства полезны тем, что имеют средства производить опыты земледельческих усовершенствований», — но совершенно достигается эта цель учреждением нескольких агрономических училищ, на счет ли государства, или на добровольные взносы частных людей. — «Многие из нынешних ирландских хозяйств слишком мелки», — но из этого следует только, что надобно дать хозяевам больше земли, чем сколько теперь они снимают, а не то, что не должно отдать им в собственность землю, арендуемую ими. — «Многие из нынешних арендаторов не такие люди, которые могут сделаться наилучшими хозяевами-собственниками», — обо всяком сословии людей, судьбу которых предполагается улучшить, можно сказать, что в этом сословии есть много людей, которые не имеют свойств, нужных для того, чтобы наилучшим образом воспользоваться своим новым положением, — но ведь из этого ровно ничего не следует, против того, что люди — существа несовершенные. — «Между ними есть много таких, которым больше пользы принесет надежда приобрести собственность трудолюбием и бережливостью, чем прямое получение собственности», — это очень распространенный между политико-экономами софизм; он представляет собою только частное применение ошибочного взгляда, что легкость достижения цели портит человека или по крайней мере отнимает у него тот случай усовершенствоваться в энергичных доблестях, который представила ему борьба с препятствиями. Самая грубая форма этого принципа — мнение квасных патриотов наших <sup>49</sup>, что физические силы мужика совершенствуются холодом, голодом и чрезмерной работой, умственные способности его изоощряются тем, что у него нет знаний и т. д. На самом деле разница фактов такова. Если приобретение земли предоставляется исключительно силам бедняка, из тысячи бедняков приобретут землю только десять человек, у которых особенная удача соединяется с особенною силою характера. Но зато все эти десять человек, обладая редкою силою характера, по всей вероятности, сохраняют то, что приобрели. От этого поверхностный наблюдатель, руководящийся только впечатлением отдельных эффектных фактов, говорит, что бедняки гораздо прочнее приобретают благосостояние, если не получают ни от кого опоры в своей борьбе против нищеты. А если для приобретения земли дается внешняя опора целому сословию бедняков, приобретают землю

все бедняки; а из тысячи их найдется пятьсот человек слабохарактерных или непредусмотрительных, которые потеряют приобретенное: из этого поверхностный наблюдатель выведет заключение, что для народа мало пользы, когда он приобретает что-нибудь при внешней опоре, — он, дескать, потеряет половину приобретенного, а из того, что приобретает без всякой посторонней помощи, он уже ничего не потеряет. Но сравните же результаты того и другого: в первом случае, когда приобретают только такие, которые не могли вновь потерять, улучшилось положение только десяти человек; а во втором тоже навсегда улучшилось положение 500 человек, — да и остальные пятьсот, которые потеряли приобретенное, все-таки несколько времени пользовались лучшим благосостоянием.

46<50>. Это очень сомнительно. В среднем выводе фабричный работник Манчестера получает около 20 шиллингов в неделю, если не меньше, то есть в год около 50 фунтов или меньше. Такой доход в городе, подобном Манчестеру, оставляет человека в скудости. О положении фабричных работников больших городов можно судить из того, что только очень немногие между ними (напр. смотрители за машинами) платят за квартиру по 6 фунтов в год, то есть около 36 рублей. Представим себе, какова должна быть квартира в Лондоне или Манчестере, за которую платится менее трех рублей в месяц. Мы делаем только два эти общие замечания, не вдаваясь в подробности, потому что и самый трактат Милля не вдается в подробное изложение фактов, а только излагает принципы.

47<51>. В разборе мальтусовой теоремы старались мы доказать, что при быстрой размножении быт народа в старых землях становится хуже и, между прочим, рабочая плата падает вовсе не по принципу самого размножения, а от внешних обстоятельств того общественного быта, в котором оно происходит. В трактате Милля встречаются сотни выражений, требующих этой оговорки, но чтобы не утомлять читателя беспрестанными повторениями, мы просим его вспоминать о ней при всех таких выражениях переводимого нами автора.

48<52>. Нет, такие страны есть в Европе. Например, в России, при чрезвычайной многочисленности рождающихся, размножение прямо сдерживается чрезмерною смертностью между младенцами от небрежности и нужды родителей, — и между взрослыми также от нужды.

49<53>. Относительно этой и многих предыдущих страниц мы должны повторить ссылку, сделанную в примечании 47<51>. Результат, показываемый Миллем, действительно неизбежен в старых землях при нынешнем ходе земледельческих улучшений, чрезмерно стесняемом особенностями нынешнего экономического быта; но он неизбежен только при этом быте; а сама по себе наука уже достигла такой высоты, что при устройстве, более

благоприятном ее приложении к земледельческой практике, она легко могла бы удовлетворять потребностям людей при каком угодно быстром их размножении, по крайней мере до той поры, пока с изменением наших обычаев и понятий от распространяющегося просвещения прекратится всякая опасность быстрого размножения, и скорее надобно будет беспокоиться о том, чтобы сохранялось существующее число населения, нежели о том, чтобы оно не возрастало слишком быстро.

50<54>. Принципы, полагаемые Миллем для закона о вспоможении бедным, справедливы, но совершенно иное дело, удовлетворительно ли они осуществляются нынешним английским законом о бедных <sup>50</sup>. Общее мнение английского простонародья свидетельствует противное. Не вдаваясь в подробности, которых должны избегать и наши примечания к трактату Милля, как избегает их самый трактат, мы заметим только две главные черты устройства английских рабочих домов (workhouses). Во-первых, они подчинены правилам, которые годятся только для тюрем, а не для убежищ людей, не сделавших никакого преступления. Конечно, общество может иметь надобность требовать соблюдения некоторых дисциплинарных правил от человека, которому дает помещение и содержание, но из этого еще вовсе не следует, чтобы справедливо или полезно было для общества смотреть на этого человека точно так же, как на преступника, заключаемого в тюрьму. Во-вторых, нелепо то, что этих работников заставляют исполнять труд совершенно бесполезный и бессмысленный, ничего не производящий, преднамеренно не допуская их заниматься никакою дельною и производительною работою. Первое правило признается необходимым для того, чтобы здоровые люди не шли на общественное содержание без всякой надобности, а второе для того, чтобы продажа их работы не подрывала частную промышленность; но, очевидно, что обе эти цели могут совершенно достигаться без унижительных и отвратительных постановлений, управляющих ныне английскими рабочими домами. Чтобы здоровые люди не шли на общественное содержание без крайней надобности, достаточно сделать, чтобы содержание в рабочем доме отпускалось несколько худшее того, каким может пользоваться работник при обыкновенных своих обстоятельствах. От наглых лентяев рабочий дом огражден уже тем самым, что в нем требуется от человека не меньшее, или даже большее количество рабочих часов, чем требует частный хозяин. А чтобы изделия, производимые в рабочих домах, не подрывали частную промышленность, для этого достаточно постановить правилом, чтобы агенты правительства, заведывающие продажей, не смели продавать их дешевле рыночной цены.

51<55>. Это совершенно справедливое замечание вполне применяется ко всем тем случаям, когда землепашец владеет под какою бы то ни было формою, — безусловной ли собственности

или потомственного пользования, или временного пользования, — участком земли, недостаточным для порядочного содержания его семейства. Тогда землепашец принужден по необходимости приискивать себе дополнительную работу на каких бы то ни было условиях, а оторваться от места он не может, потому что привязан своим куском земли к известному урочищу. Таким образом соседние большие хозяйства становятся относительно этого землепашца в положение монополистов и могут от чрезмерности понижать рабочую плату, так что землепашец-собственник, служащий с тем вместе наемным работником, может от обоих источников своего дохода, от своего участка и от найма в работу получать меньше, чем получают наемные работники. В тех местностях, где не существует такого привязанного положения к слишком малым кускам земли, употребляя наше домашнее выражение, мы должны сказать, что слишком малые куски земли только закрепощают своих владельцев-простолюдинов к соседним большим землевладельцам и предпринимателям.

52<56>. Во всем этом рассуждении и следующих за ним словах Сисмонди очень много правды, но жаль только того, что и Милль и Сисмонди (в приведенной у Милля выписке) и сам Мальтус, от которого пошли все рассуждения в таком тоне, сами грешат недостатком прямодушия и сентиментальной идеализацией, против которых так сильно восстают, когда замечают эти вредные свойства у своих обыкновенных противников, сентиментальных филантропов мистического направления. Дело в том, что сам Мальтус остановился на половине дороги к истине, — это было неизбежно по влиянию соображений, из которых возникло его исследование. Не повторяя здесь подробностей, помещенных нами в разборе мальтусовой теоремы, здесь мы пересмотрим мысли, выражаемые Миллем на страницах, к которым прямо относится настоящее наше примечание.

«Цивилизация перевоспитывает человека и совершенно изменяет его потребности». Это так, и образ жизни, поступков, мыслей дикого человека во многом отличается от того, что уже приобрел или при более удовлетворительном развитии приобретает цивилизованный человек. Но должно точнее всмотреться в то, каковы именно черты перемены, происходящие в нем от перевоспитания цивилизацией. Дикарь ест человеческое мясо; цивилизованные люди все уже гнушаются этим, и у некоторых из них возникает даже зазрение совести против употребления какого бы то ни было мяса. Мы не знаем, устроится ли когда-нибудь обстановка цивилизованной жизни так хорошо, что эта совестливость употреблять в пищу какое бы то ни было мясо приведет всех цивилизованных людей к принятию так называемого вегетарианского принципа, допускающего, кроме растительной пищи, только употребление молока и яиц. Но, положим, что некогда произойдет и эта перемена, от которой мы еще чрез-

вычайно далеки; в чем же, однако, не только теперь состоит, но и тогда будет состоять вся разница между мыслями и поступками каннибала и цивилизованного человека по отношению к пище? Каннибал не руководится, а цивилизованный человек руководится принципом избегать такого удовлетворения своей потребности, которое служит причиной страдания других подобных ему существ. Но отказывается ли он от удовлетворения самой потребности? Нисколько. Он точно так же ест досыта, как и дикарь, и никогда нельзя ожидать того, чтобы население какой-нибудь страны при какой угодно высоте цивилизации решилось есть не досыта и стало устраивать свою жизнь по этому принципу. Напротив, нынешнее общественное положение с цивилизованной точки зрения признается неудовлетворительным именно за то, что у некоторых людей никогда не бывает средств наесть досыта, и дальнейшие успехи цивилизации по вопросу о продовольствии человека должны состоять в том, чтобы никто никогда не подвергался такому стеснительному состоянию, а всегда всякий наедался досыта.

Из этого мы видим, что перевоспитание человека цивилизацией состоит только в изменении понятий о том, какие средства для удовлетворения естественной потребности дозволительны, а какие недозволительны; что же касается до размера, в каком удовлетворяется естественная потребность, результат цивилизации заключается вовсе не в том, чтобы размер этот стеснялся, а в том, напротив, чтобы потребность удовлетворялась все полнее и полнее, непрерывнее и непрерывнее. Общество дикарей очень часто голодает. Цивилизованное общество подвергается голоду редко и заботится о том, чтобы устроить свою жизнь так, чтобы вовсе никогда не знать голода.

Применим полученные нами выводы о влиянии цивилизации на удовлетворение естественной потребности к той другой потребности, о которой рассуждает мальтусава теория.

В грубых обществах люди, имеющие силы, точно так же не обращают никакого внимания на страдания других людей при удовлетворении этой своей потребности, как людоеды при удовлетворении потребности к пище. У них господствует насилие в разных формах. От этого происходит, что множество людей подвергается бесчисленным стеснениям, лишениям и бедствиям. Одна из самых грубых форм этих отношений — тот быт, какой мы видим у варваров средней Азии и отчасти у турок. Женщины покупаются на невольническом рынке; они запираются в гарем; чтобы иметь тюремщиков, изувечивают мужчин. Бывали допускемы обществом, например в древней Греции, такие формы отношений, которые еще хуже этой. Теперь в Европе дело уже очень много смягчилось сравнительно даже с турецким его положением; но все-таки остается еще сделать очень многое, чтобы оно стало удовлетворительно. Из разных сторон, требующих

улучшения, мы обратим здесь внимание на ту, которая всего более замечается и мальтусовою теориею. От грубости и безрассудности нынешних нравов рождаются существа, обреченные на нищету. Конечно, это не годится; конечно, необходимы такие изменения в понятиях и обычаях, чтобы рождались только те дети, которым, по выражению Мальтуса, приготовлено порядочное место на пиру жизни. Это желание Мальтуса превосходно, и раньше или позже, конечно, так устроится на свете. Но нелепо ждать этой перемены, как ждет Мальтус, от того, что когда-нибудь станут добровольно ограничивать в себе естественную потребность люди, не приготовившие порядочного обеспечения для своих будущих детей: это все равно, что ждать, что люди когда-нибудь добровольно станут не наедаться досыта. Это — фантазия, достойная разве какого-нибудь тупоумного идиаллика.

Какими же силами и обстоятельствами будет произведена перемена понятий и обычаев, нужная для того, чтобы не рождалось на свет лишних людей, которым нет порядочного места на земле? Милль, повидимому, тут ждет очень многого от прекращения суеверных возбуждений к ранней женитьбе, от того, что возникнет общественное презрение к людям, женящимся без средств к воспитанию детей, и так далее. Вот здесь-то и выкачивается жалкое, малодушное притворство в самих последователях Мальтуса. Будто дело идет о женитьбе или о каких-нибудь формах сожительства, освящаемых религиозным или гражданским законом. Вовсе нет. Дети точно так же рождаются и без всяких законных форм сожительства. Единственная реальная разница, сколько-нибудь относящаяся к делу, разбираемому Мальтусом, состоит только в том, что смертность между незаконнорожденными младенцами больше, чем между законнорожденными. Но ведь не на то, конечно, возлагал свои надежды Мальтус, что, когда при замедлении браков и уменьшении размеров законного сожительства в обществе, уменьшится пропорция законных детей и соразмерно тому возрастет пропорция незаконнорожденных, то размножение будет задерживаться чрезмерной смертностью незаконнорожденных младенцев. Нет, наивный идиалист именно о том и хлопотал, чтобы не было чрезмерной смертности. Он воображал, что замедление женитьбы и тому подобные меры «предусмотрительности» мужчин уменьшат число законнорожденных детей без увеличения числа незаконнорожденных. Эта забавная мечта так и осталась бы только забавною, если бы не переходила на практике в тупое жестокосердие по общему свойству всяких идиаллических мечтаний порождать самые тяжелые жестокости на практике.

Бессилие общественного порицания или негодования, или презрения к людям, которые рожают детей без формально признанного за ними обществом права на то, совершенно ясно обна-



руживается жизнью того самого класса людей, о котором упоминает Милль. Римско-католическое духовенство безбрачно. Патер, нарушающий эту сторону своего обета, подвергается сильнейшему общественному порицанию, какое только может существовать по отношению к подобным делам. Кому же неизвестно, как живет огромное большинство римско-католического духовенства?

Несколькими страницами дальше Милль сам указывает элемент, от развития которого надобно ждать перемены в количестве рождающихся. Но те средства и надежды, о которых он говорит в настоящем месте, совершенно фантастичны.

53<57>. Вот это обстоятельство, о котором так мало говорит господствующая теория, имеет действительно большую важность. Нельзя ждать какого-нибудь успеха в деле, пока те классы, под влиянием которых образуются понятия и обычаи народа, имеют выгоду, противоположную желаемому нами делу. Чрезмерное размножение рабочего класса, то есть массы населения, вредно только самой массе населения, но оно выгодно всем условиям, выделившимся из массы. А при глубоком невежестве массы все понятия народа создаются выделившимися из нее классами, потому пока существует антагонизм интересов между наемным работником, которому была бы выгодна высокая плата, и нанимателем труда, которому выгодна низость ее, и пока масса не приобретет умственной самостоятельности, нельзя ожидать даже и того, чтобы уничтожились в народе понятия, благоприятные чрезмерному размножению. Но чтобы возникли понятия и обычаи, которыми действительно отстранилось бы излишнее размножение, для этого мало, чтобы исчезли благоприятствующие ему предрассудки, мало и того, чтобы оно порицалось общественным мнением, — нужно то, чтобы непосредственное чувство лиц, от которых зависит это дело, решало его, не стесняясь предубеждениями. Ниже, как мы сказали, у самого Милля указывается это решение вопроса.

54<58>. Едва ли можно замечать, что мнение Милля о разделении общинных земель на наследственные участки связано с его общей решимостью рассуждать об общественных вопросах на основаниях нынешних принципов экономического устройства; поэтому он, как мы видели, отказывается подавать голос в споре о том, действительно ли нынешние принципы экономического быта соответствуют требованиям прогресса. Наш взгляд на это дело уже изложен в примечаниях к первым двум главам второй книги его трактата <sup>51</sup>.

55<59>. Само собой разумеется, что этот взгляд справедлив, как выражение общего принципа, которого следует по возможности держаться; но бывают исключительные случаи, в которых Миллю нельзя сильно винить людей, или можно даже и вовсе оправдывать их за то, что под влиянием слишком тяжелых об-

стоятельств они отступают от какого-нибудь принципа. Так например, когда весь общественный быт, если не на словах, то на деле имеет кастовое устройство, то удивительно ли, что отдельная каста заботится о сохранении своих преимуществ, пока нет близкой надежды на то, что вообще уничтожатся отдельные преимущества других каст. Отказываясь от своих привилегий, пока все общество основано на привилегиях, члены этой касты только сделали бы париями и потерпели бы урон, не доставив никому пользы своим самопожертвованием. Другое дело — забота об отменении всякого кастового устройства; тут вся масса выигрывает, выигрывает даже большинство членов привилегированных классов. Стремление к общей отмене всяких привилегий основывается на расчете экономической выгоды, а что касается до самопожертвования, то никто не должен ждать его от кого бы то ни было. Политическая экономия достаточно разъяснила ту истину, что реформы могут быть производимы только теми классами, для которых они выгодны. Поэтому и уничтожение замкнутости высших слоев рабочего сословия может быть произведено только настоятельным требованием низших слоев массы, которым невыгодна эта замкнутость, а не идилическим самопожертвованием замкнутых слоев.

56<60>. В примечаниях к первой книге Милля мы уже имели случай рассматривать, может ли, по существу дела, вознаграждением за воздержность или за отсрочку потребления считаться какое-нибудь возращание сбереженного продукта<sup>52</sup>. Мы находили там, что такое вознаграждение никак не соответствует сущности дела, которое единственным вознаграждением себе должно иметь натуральный свой результат, — именно то, что продукт остался цел, сохранился для потребления в такое время, когда потребление будет нужно владельцу продукта. Рассматривая этот вопрос подробнее, мы видим, что по отношению к натуральному результату сбережения продукты разделяются на три разряда. Одни, как напр. хлеб, более или менее подвергаются порче с течением времени; другие, как напр., драгоценные металлы, остаются совершенно целы, не портясь, но и не улучшаясь; третьи, наконец, как некоторые сорта вин, улучшаются от сбережения. Но и второй, и третий разряд продуктов не имеют существенной важности в экономическом быте страны: почти вся масса потребления и все производство страны основывается на предметах первого разряда, портящихся от долговременного сохранения. Посмотрим же, что теперь надобно думать по сущности дела о вознаграждении владельца таких предметов за то, что он, не имея охоты или средств сам обращать их на производительное потребление, отдаст их взаимы другим.

Мы знаем, что сущность экономических феноменов раскрывается через {приведение их в простейший вид — *зачеркнуто*} разбор {самых простых случаев каждого ф<еномена> — *зачерк-*

нито} самой простой формы каждого феномена. Предположим теперь самый простой случай экономического быта, — одну хозяйственную единицу, отделенную от всяких связей с другими. Пусть это хозяйство производит 150 четвертей пшеницы и требует из них 50 четвертей для своего годовичного продовольствия и для засева полей на следующий год. Как оно может распорядиться с своим продуктом?

Во-первых, хозяин может бросить в реку весь свой хлеб. В таком случае хозяйство <хозяин?> на другой же день подвергнется голоду и не будет иметь возможности восстановить свои средства к жизни новым посевом. Таким образом за сбережение части хлеба, нужной на продовольствие хозяйства и на засев полей, вознаграждением служит то, что хозяин с своим семейством не подвергается голоду до новой жатвы и имеет возможность получить новым трудом новую жатву.

Предположим теперь, что благоразумие хозяина идет дальше: он не только не уничтожает 50 четвертей без нужды ему для собственного продовольствия и для нового посева, но сберегает и остальные 100 четвертей, без которых мог бы обойтись. Чем вознаграждается он за это? Сто четвертей, сберегаемых в течение года, несколько портится; положим, что убыль эта равняется пяти четвертям. Чтобы сохранить сберегаемый хлеб от совершенной гибели, предохранить его от насекомых, от сырости и так далее, нужно известное количество труда, который надобно отвлечь для этого дела от других занятий; положим, что продукт этих других занятий равнялся бы пяти четвертям хлеба. Если так, хозяин жертвует пятью четвертями хлеба для сохранения своего запаса. Итак, сколько же осталось у него сбережено за год?

Было . . . . .	100 четвертей
Из них убыло от порчи пять четвертей и израсходовано на труд сохранения . . . . .	10 четвертей

Итого остается 90 четвертей

Чем вознаграждается хозяин за это сбережение? Разумеется, тем самым, что у него сохранилось 90 четвертей хлеба. Если б он употреблял хлеб безрасчетно, не берег его, то он не имел бы этого запаса. А теперь, имея такой запас, какую выгоду он получает от него? Ту выгоду, что может этот второй год прожить хлебом прошлого года, то есть может избавить себя от земледельческого труда в этом втором году. Тогда 50 четвертей пойдут на продовольствие, а 40 четвертей могут быть сбережены на третий год, так что на третий год хозяин может обойтись гораздо меньшим трудом для обеспечения своего продовольствия, часть которого еще сохранилась у него в запасе.

Изменяем теперь одно из условий прежней гипотезы. Положим, что взятое нами хозяйство не совершенно отрезано от сно-

шений с другими хозяйствами, и предположим, что хозяин, имеющий запас в 100 четвертей хлеба, не станет их праздно оставлять в своем анбаре, а вздумает отдать другим хозяевам для производительного употребления; положим, что срок займа будет годичный, политико-экономы отсталой школы замечают, что если наш хозяин соглашается дать займы свой хлеб, он оказывает заемщикам услугу, за которую должен получить от них какое-нибудь вознаграждение; положим, что это так; но спрашивается, как велика должна быть сумма вознаграждения, чтобы займодавец находил выгодным для себя давать свой хлеб займам.

Мы видели, что если он оставит хлеб лежать в своем анбаре, то в течение года из 100 четвертей сохранятся у него только 90 четвертей. Следовательно, если он условится с заемщиком так, чтобы получить назад через год сполна 100, которые дает ему, то этим оборотом он выиграет 10 четвертей. Если бы заключили с ним даже такое условие, что, взяв у него теперь 100 четвертей, возвратят ему через год только 95, он через этот оборот все-таки выигрывал бы 5 четвертей, потому что, если бы держал свой хлеб в анбаре, то имел бы через год только 90 четвертей.

Из этого мы видим, до какой степени понятие о прибыли, вытекающее из сущности дела, различно от понятия о ней, извлекаемого господствующею школою из рассмотрения случайных форм нынешнего коммерческого быта.

Тому, чьи мысли слишком забиты рутинными тирадами отсталых политико-экономов, очень странным покажется взгляд, находящий значительную прибыль для займодавца, когда ему только возвращается занятая сумма без всякой прибавки, — находящий, что займодавец может получить прибыль от займа даже в том случае, когда занятый капитал возвращается ему не весь сполна, а с некоторым вычетом. Но что же делать? Принципы экономической науки таковы, что неподдельное их применение к частным экономическим вопросам во всяком из этих вопросов дает решение совершенно различное от рутинных понятий, навязанных на нас меркантильным нашим бытом, в котором действие экономических законов или искажается, или затемняется до того, что происходит самая страшная путаница и в фактах, и в мыслях. Просим читателя, преданного господствующей теории, подумать о том, как не согласны с ходячими понятиями меркантильной рутины выводы, найденные этою теориею для всех тех вопросов, к которым она решилась неподложным образом приложить коренные идеи науки. Например, по вопросу о международной торговле господствующая теория успела доказать, что страна имеет выгоду от ввоза товаров и терпит потерю от вывоза их, — ведь это совершенно противоположно рутинному меркантильному взгляду. По вопросу о богатстве общества она

успела доказать, что деньги не составляют ровно никакого богатства, — ведь это тоже противоречит ходячему предрассудку. Нужно иметь только добросовестность и некоторый навык в приложении основных принципов науки к частным вопросам, чтобы и по другим делам получить выводы, столь же сильно расходящиеся с меркантильными предрассудками. Не мы виноваты в том, что последователи Адама Смита не хотели или не умели в большей части вопросов применять к делу коренных идей своей науки и довольствовались пышною перефразировкою рутинных мнений.

Возвращаясь к вопросу о прибыли, мы должны сказать, что по коренным идеям науки, изложенным у самого Адама Смита, он должен представляться в следующем виде.

Продукт сам по себе есть нечто мертвое, и когда он не оплодотворяется приложением нового труда к нему, он может только портиться и разрушаться, а никак не возрастать.

Потому, когда продукт возрастает, все его возрастание должно быть приписываемо новому прилагаемому к нему труду.

Из этого следует, что вся так называемая прибыль принадлежит по сущности дела не продукту, идущему в новое производство, то есть не тому, что называется в политической экономии капиталом, а исключительно труду.

Если же при каких-нибудь формах быта мы видим экономические явления, не соответствующие этому взгляду, то мы должны сказать, что эти формы быта не соответствуют ни естественным законам производства, ни извлеченным из этих законов идеям экономической науки.

Быть может, не мешает здесь повторить еще раз оговорку, которую мы делали уже много раз. Если отвлеченная наука находит известные явления неудовлетворительными или даже совершенно вредными для человеческого благосостояния, то она указывает только цель, к которой должны стремиться человеческие общества, и нисколько не принимает на себя задачи решать, какими способами и с какою степенью быстроты может или должно быть произведено в данном обществе то или другое указываемое ею изменение. Это уже не дело отвлеченной всеобщей науки, а дело местных исторических условий. То, что легко может быть быстро осуществлено в одной стране, может потребовать очень долгого времени в другой; то, что не потребует никаких чрезвычайных усилий в одной, может потребовать очень эффектной борьбы в другой. Рассматривать, что и как надобно делать в данное время при данном положении вещей, — это уже обязанность того отдельного племени и того отдельного поколения этого племени, которое живет в данных обстоятельствах.

57<61>. Читатель знает, что простые, незатруднительные болезни лечат в Англии сами содержатели аптек. Приглашать медика они советуют уже только в тех случаях, где недостает их

собственного искусства, степенью которого они сходны с нашими фельдшерами.

58<62>. В этой несчастной фразе проглядывает та робость, которая сделала из политической экономии науку, такую жалкую для последовательного мыслителя и такую бесчувственную или, лучше сказать, беспомощную во всех важнейших исторических вопросах. Неужели наука может, не унижая своего достоинства, отказываться от разбора основательности или неосновательности существующих мнений? Вас приглашают, как человека, знающего толк в ювелирных вещах, дать свой совет при покупке брошки; брошка эта, как вы замечаете, сделана не из настоящих бриллиантов, а из страз. Покупщик не замечает этого: неужели вы должны ограничиться такими словами: «за бриллиант такой величины можно дать 1 000 рублей», — неужели вы не прибавите: «но это не бриллианты, а стразы, и потому брошка не стоит больше 10 рублей». Если вы не прибавите этого, значит вы в заговоре с обманщиком-продавцом; или вы только похвалились, что знаете толк в бриллиантах, а сами ничего не знаете в них, не замечаете обман и не годитесь в советники по этим делам. В том и в другом случае вас надобно прогнать. — Политико-эконом — человек все же сколько-нибудь просвещенный, имеющий сколько-нибудь сносных понятий о сравнительной важности разных предметов для благосостояния общества. Неужели он должен отказываться от замечаний, что некоторые вещи ценятся обществом дороже, чем следует, а другие наоборот? Милль говорит, что он

«Не должен сметь  
Свое суждение иметь»

об этих вещах; но мы знаем, кем произнесены эти слова. Молчалин отказывался «иметь свое суждение» только для того, чтобы не навлечь на себя неудовольствия людей, милостью которых дорожил; а в тех случаях, когда его мнение могло быть приятно этим людям, он очень храбро выражал его. Точно так и политико-экономы, устроившие господствующую теорию соответственно интересам коммерческого класса, очень храбро высказывают научные истины о тех предметах, в которых выгоды торговли соответствуют выгодам истины. Посмотрите, например, с каким геройством вооружаются они против войны. Бестрепетно говорят они, что «покорение чужих земель дело убыточное для нации, что национальное самолюбие придает слишком высокую цену военной славе и расходует на военные дела такие деньги, каких эти дела не стоят». Вот, не отказываются же они судить тут о степени соответственности между меновой и внутренней ценностью предметов. Если бы они рассматривали с такою же неподкупною смелостью другие главные черты нынешнего экономического быта, их теория имела бы совсем не тот вид, как теперь.

59<63>. Едва ли надобно объяснять, в каком виде представляется нам спор Милля против Рюбишона<sup>53</sup>. Подобно другим приверженцам феодального порядка, Рюбишон отыскивает недостатки мелкой поземельной собственности. Милль возражает ему, что каковы ни были ее недостатки, она все-таки гораздо лучше феодального порядка. В этом Милль совершенно прав. Но из этого еще вовсе не следует, что неудобства мелкой поземельной собственности не так велики, чтобы не надобно было заботиться по возможности о замещении этого быта таким, который соединял бы все хорошие стороны малого и большого хозяйства.

60<64>. Это у Милля очевидная ошибка; вместо «Уральский хребет» надобно читать «золотоносные россыпи Восточной Сибири».

61<65>.[В самом ли деле увеличивается от этого капитал, имеющий производительное потребление? Тут могут быть разные случаи. Если деньги, обращающиеся через посредство банкира на производство — *зачеркнуто*] — Милль говорит, что кредит, даваемый землевладельцу, обращается на производительное употребление, — это потому, что английские землевладельцы, «большие помещики», за очень немногими исключениями вовсе не заботятся об улучшении своих земель и действительно занимают деньги только на мотовство.

62<66>. Так, отдельная нация выигрывает, заменяя звонкую монету бумажными деньгами, потому что звонкая монета идет тогда за границу и покупает товары для нации, заменивши ее бумажными деньгами. Но, во-первых, этот выигрыш получается нацией насчет других наций, у которых она берет товары не за какой-нибудь свой продукт, годный на производительное употребление, а за кусочки металла, в сущности ни к чему не пригодного, кроме выделки ювелирных вещей. Тут происходит не такой обмен, который был бы действительно выгоден для обеих сторон и может вести к чему-нибудь хорошему. — Во-вторых, замена звонкой монеты бумажными деньгами делается обыкновенно для военных расходов и потому бывает принадлежностью такой вредной расточительности, за которую не вознаграждают нацию никакие заграничные товары.

63<67>. Этот факт служит для консерваторов политической экономии главным аргументом против всяких мыслей о реформах в нынешнем экономическом быте: «Богатство стран и при нынешнем устройстве возрастает; зачем же перестраивать экономические учреждения?» Но если сумма богатств страны, бесспорно, увеличивается, то еще не известно, увеличивается ли та часть богатства, которая достается из этой суммы в пользование простолюдинов; Милль сам имеет добросовестность сомневаться в этом и даже склоняется к отрицательному ответу, как мы увидим ниже.

64<68>. Итак, производительность труда растет очень быстро; отчего же так медленно улучшается или вовсе не улучшается положение массы? Разве размножение идет еще быстрее, чем увеличивается производительность труда? Милль, не позабывшись сам заняться рассмотрением этого дела, принял на веру мнение прежних политико-экономов, будто бы причиной дурного положения вещей надобно признавать чрезмерную быстроту размножения, с которым не может поравняться никакая успешность в ходе улучшений. Весь его трактат написан под влиянием такого взгляда. Но, разбирая мальтусов закон, мы видели, что такое объяснение дела никуда не годится. При самой невероятной скорости размножения нужен очень незначительный прогресс улучшений для того, чтобы положение массы могло заметно улучшаться, и если оно не улучшится, причиною тому, при нынешнем состоянии искусств, должны быть какие-нибудь другие факты, а не чрезмерная быстрота размножения.

65<69>. Это писано под впечатлением периода с 1815 до 1848 года, когда ни Европа, ни Америка не подвергались большому войнам. Последние пятнадцать лет, конечно, принуждают к значительным оговоркам: наше поколение было свидетелем войн, опустошавших самые цивилизованные страны. Войны эти оставляли после себя увеличение налогов. Впрочем, сделав все оговорки о подобных колебаниях в ходе прогресса, надобно все-таки сказать, что он очень заметен. Например, наполеоновские войны, при всей своей колоссальности, были далеко не так губительны, как Тридцатилетняя война: в 1815 году Германия, например, все-таки была в положении несколько лучше, чем в 1791 году, перед началом военного периода. Значит, война только замедляла прогресс ее материального благосостояния, а все-таки даже во время самой войны замедляющая сила оказывалась слабее силы, подвигавшей страну вперед. Размер влияния Тридцатилетней войны был не таков: не только при ее окончании, но и через 30 и через 50 лет после того Германия еще все оставалась в положении более худом, чем какого было достигла перед началом Тридцатилетней войны. Цивилизация наша еще не окрепла настолько, чтобы стать не подверженною сильным припадкам дикого умопомешательства; но все больше и больше крепнет, так что с каждым поколением легче выносит эти пароксизмы.

66<70>. Почему же этот вопрос показался Миллю не входящим в границы его трактата? Ведь дело идет о качествах работников, то есть о свойствах одного из элементов производства. По замечанию Милля выходит, что цивилизация усиливает успешность разных других элементов производительного труда, портит самый важный из этих элементов в самом главном его качестве, — в личной его способности к разумному труду. Сам по себе факт едва ли подлежит спору. Дикарь или полудикий



человек гораздо находчивее работника передовых стран, гораздо лучше его умеет применяться к неожиданным обстоятельствам, выпутываться из затруднений, заменять недостаток одних средств приискиванием других; он более похож в этом отношении на человека, а работник цивилизованных стран более похож на машину, действие которой расстроивается или останавливается при малейшей перемене в вещах, над которыми или посредством которых она работает. Спрашивается теперь, надобно ли считать это ослабление самостоятельной разумности труда в индивидуальном человеке неизбежною принадлежностью самых принципов экономического развития, или только временною принадлежностью некоторых периодов или форм его. По нашему мнению, дело зависит от общественного положения работника и от рамок, которыми определяется сфера деятельности отдельного человека. В неразвитом обществе отдельный человек имеет многостороннюю деятельность. Например, краснокожий американец, кроме того, что занимается охотою, сам строит свой вигвам, сам торгует своими продуктами и участвует во всех общественных делах своего племени. Наш мужик тех захолустьев, куда не проникало высшее экономическое развитие, занимается кроме земледелия и пастушеством, и изготовлением орудий для своих работ и постройкою своего жилища, и так далее. Конечно, при таких разнообразных занятиях эти люди встречают гораздо больше случаев и материалов для развития своих личных деловых способностей, и если труд их менее успешен по несовершенствам их орудий, то орудиями этими они умеют пользоваться лучше, чем фабричный работник, или наемный работник земледельческой фермы, который привязан к одному машинному занятию. Кроме того, они в исполнении своего труда более самостоятельны. Дикарь или вольный мужик работает без всякого постороннего присмотра. Даже за невольником или крепостным мужиком присмотр состоит только в том, чтобы он не ленился; между тем как в работе фабричной надзор определяет все — до самых мелких подробностей каждого движения и всякого технического приема. Вот от разницы в этих двух отношениях и происходит, что цивилизованный работник становится ниже <не>цивилизованного по индивидуальному развитию деловых способностей. Но мы видим, что обе эти неблагоприятные особенности происходят не от самой сущности усовершенствованных процессов производства и не от коренных свойств цивилизации, а только от временных условий неудовлетворительного экономического устройства. Мы находили, что принцип разделения или сочетания труда сам по себе вовсе не требует неотлучной связанности работника только одним занятием; а что касается до самостоятельного труда, сам Милль принимает, что положение наемного работника ненормально и должно за-

мениться положением самостоятельного хозяина, работающего на свой счет по собственному усмотрению.

67<71>. Мы уже имели случай указывать причины, по которым сельскохозяйственные процессы до сих пор оставались гораздо менее усовершенствованы, чем процесс многих других отраслей производства. Первая из этих причин находится в самой сущности дела. Сельскохозяйственный процесс гораздо многосложнее фабричного, и потому науке было трудно справиться с ним. Но при нынешнем состоянии знаний это затруднение теряет большую часть своей важности. Вырастить такое животное, которое для удовлетворения особым требованиям человеческого общества очень много отличалось бы от безыскусственного вида своей природы, это задача еще более сложная и мудреная, чем почти все вопросы, разрешение которых требовалось бы для прогресса сельскохозяйственного искусства. Но мы видим, как легко и быстро пересоздает человек породы домашних животных. Судя по этому, надобно думать, что в нынешнее время сельскохозяйственные процессы совершенствуются слишком медленно не потому, чтобы люди продолжали не иметь знаний и сил, нужных для этого дела, а собственно потому, что знания и силы людей слишком мало заняты этою задачею. В самом деле, оно так и должно быть при нынешних общественных отношениях. Кто терпит от недостаточности сельскохозяйственного продукта? — только простолюдины и бедняки, не имеющие влияния ни на обыкновенный ход материальных забот общества, ни даже на направление умственных его занятий. Из самого Милля мы знаем даже больше: сельскохозяйственные улучшения прямо невыгодны тому классу, который до сих пор имел господствующее влияние на общественные дела и мысли в передовых странах Западной Европы — сословию, живущему поземельною рентою.

## ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ <sup>54</sup>

Предполагается прочесть четыре лекции.

Основанием чтений будет служить курс политической экономии Милля, который переведен года два тому назад на польский язык и напечатан в этом переводе с разрешения здешней цензуры; а теперь переводится также и на русский язык (значительная часть русского перевода уже напечатана с разрешения здешней цензуры). Вероятно, было бы достаточно указать книгу, которой будет держаться Чернышевский в своих чтениях. Это указание, конечно, уже заменяло бы собой самую подробную программу предполагаемых чтений.

Однако же на всякий случай вот программа их.

*Предисловие.* Чтение первое. Если политическая экономия имеет важность как исследование одной из главнейших сторон общественной жизни, то, быть может, еще гораздо больше значения должно приписывать ей как первому и образцовому опыту применения строгой научной методы к области явлений исторической и нравственной жизни. Феномены производства, распределения, обмена и потребления материальных продуктов были в историческом развитии знаний первыми и до сих пор остаются единственными явлениями человеческой деятельности, к анализу которых применен дедуктивный метод, посредством гипотетического приема отыскивающий с прочною достоверностью законы действия основных или, так сказать, элементарных сил. Благодаря этому методу теория экономической деятельности разрабатывается чрезвычайно быстро с получением таких точных теорем, относительно которых уже не остается никакого сомнения в людях, знакомых с предметом. От этой несомненности научных принципов возникает великая польза и для практической общественной деятельности, приобретающей верные основания для своих соображений. Применение подобного метода к другим нравственным и общественным наукам значительно облегчается знакомством с приемами политической эконо-

номии, потому она интересна не только сама по себе, не только для людей, желающих исследовать экономическую сторону жизни, но и как норма, показывающая успешнейший метод разработки научных вопросов по другим сторонам нравственной и общественной жизни.

Сущность приема, которым пользуется политическая экономия для отыскания общей формулы действий каждой элементарной силы, участвующей в экономических феноменах, иначе сказать, способ изолирования действий каждой элементарной силы от видоизменяющих его влияний других сил, или так называемый гипотетический метод.

Коренная точка зрения науки на экономические феномены. Облегчаемое гипотетическим методом различие симптомов от причин и случайного совпадения от внутренней связи. Проникновение в самую сущность явления по отстранении наружных несущественных симптомов его.

Этим предисловием, занимающим лишь меньшую половину времени, назначенного для первого чтения, ограничивается вся та доля, в которой можно будет видеть хотя некоторую самостоятельность изложения со стороны читающего. Потому он очень подробно изложил эту незначительную по объему часть первого чтения. Все остальное в его чтениях будет только парафразом Милля, только переложением с абстрактного языка Милля на язык, более близкий к простому разговорному. Итак, относительно второй половины первого чтения и трех остальных чтений довольно будет привести здесь заголовки тех глав и параграфов трактата Милля, которые будут предметом чтений. Для подробнейшего ознакомления с содержанием их послужит прилагаемый при программе французский перевод сочинения Милля.

Продолжение первого чтения. Основные элементы производства: труд, капитал и природа (Милль, кн. I, гл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7).

Закон возрастания продукта при возрастании этих элементов. Мальтусова теорема (Милль, кн. I, гл. 12 и 13).

Распределение продукта на рабочую плату, прибыль и ренту (Милль, кн. II, гл. от 11 до 16).

Чтение второе. Точнейшая характеристика разницы научного воззрения на экономические феномены от впечатления, производимого ими на мысли человека, не анализирующего их при помощи строгого научного метода.

Поверхностному взгляду представляется, что все экономические феномены держатся на деньгах, что деньги владествуют над ними всеми. Действительная роль денег в экономических феноменах по научному анализу. Общий вывод науки тот, что при употреблении денег все экономические явления происходят точно так же, как происходили бы в обществе, не знающем употребления денег. Различение ценности и цены. Пропорция между

ценами разных товаров в данное время в данном месте или между ценами одного товара в разные времена или в разных местах бывает совершенно одинакова с пропорцией ценностей, лежащих под этими ценами (Милль, кн. III, гл. 6, § 1: общий очерк теории ценности, и гл. 7, § 3: деньги, будучи простыми орудиями для облегчения обменов, не изменяют законам ценности).

Разъяснение феноменов международной торговли с этой точки зрения (Милль, кн. III, гл. 17, § 1 и 2: международные ценности определяются не безотносительною стоимостью производства, а пропорциональными разностями в стоимости производства; гл. 18, § 1 и 2: ценность ввозимых предметов определяется условиями международного обмена, которые в свою очередь определяются уравниванием международного запроса; § 9: элемент, которым определяется для страны стоимость получаемых ею из-за границы товаров; гл. 21, § 1: употребление денег нимало не изменяет того закона международных ценностей, какой существовал бы при меновой системе; § 3: золото и серебро, как деньги, в своем распределении по разным странам следуют тому же закону, какому следуют они как товар).

Наконец ни один из элементов распределения продукта не видоизменяется от употребления денег как орудия обмена (Милль, кн. III, гл. 26: о влиянии обмена на распределение богатств; § 1: обменом и деньгами не изменяется закон рабочей платы; § 2: не изменяется и закон ренты; § 3: не изменяется и закон прибыли).

Чтение третье. Влияние общественного прогресса на производство и распределение.

Характеристика общества, богатство в котором увеличивается. Общественный прогресс ведет к полнейшему подчинению сил природы человеку (Милль, кн. IV, гл. 1).

Влияние промышленного прогресса и размножения людей на ценности и цены (Милль, кн. IV, гл. 2). Ценность и стоимость всех товаров, за исключением земледельческих и рудопромышленных продуктов, имеют тенденцию понижаться при успехах промышленности и размножении людей (§ 1). Напротив, земледельческие и рудопромышленные продукты имеют тенденцию возвышаться в ценностях и ценах, но эта тенденция от времени до времени задерживается усовершенствованиями производства (§§ 2 и 3).

Влияние промышленного прогресса и размножения людей на ренту, прибыль и рабочую плату (Милль, кн. IV, гл. 3). Разбор простейших случаев. При размножении населения и неподвижности капитала (§ 1); при возрастании капитала и неподвижности населения (§ 2); при одинаковом возрастании населения и капитала и при неподвижности производительных искусств (§ 3); при неподвижности капитала и населения и при успехах производительных искусств (§ 4); сложный случай: при возрастании всех трех элементов производства (§ 5).

Тенденция прибыли понижаться. Чем определяется minimum прибыли (Милль, кн. IV, гл. 4, §§ 2 и 3).

Приближение прибыли к minimum в богатых странах (§ 4). Коммерческие кризисы, усовершенствования в производстве, получение из-за границы предметов первой необходимости и материалов производства и, наконец, перелив капитала за границу служат силами или обстоятельствами, задерживающими стремление прибыли к minimum (§§ 5, 6 и 8).

Глава V. Результаты стремления прибыли к minimum. Условия, при которых перелив капитала за границу не бывает потерей для страны (Милль, кн. IV, гл. 5, § 1). В богатых странах введение машин выгодно для работников (§ 2).

Чтение четвертое. О неподвижном состоянии. Разбор ошибочных понятий, по которым неподвижное состояние представлялось для многих английских экономистов печальной перспективою (Милль, кн. IV, гл. 6; § 1). Само по себе оно имеет преимущество перед нынешним прогрессивным состоянием (§ 2).

Гл. VII. Вероятная будущность трудящегося сословия (Милль, кн. IV, гл. 7). Обстоятельства, по которым не приложима к делу теория, мечтающая о восстановлении феодальных отношений: упрочение всеобщей безопасности и смягчение нравов в последние столетия (§ 1). Улучшение будущности трудящегося класса всего более зависит от распространения в нем образованности (§ 2). Одним из вероятных результатов умственного прогресса надобно считать принятие более благоразумного образа жизни по отношению к размножению (§ 3). Тенденция общественного быта к облегчению средств самостоятельного труда для людей трудящегося класса (§ 4). Примеры ассоциации работников с хозяином (§ 5). Примеры ассоциаций работников между собою (§ 6). Соперничество не губительно, а полезно и необходимо (§ 7).

Первые два чтения, составляющие общий краткий очерк трех главных сторон экономической статики, знание которых необходимо для понимания экономической динамики, должны служить как бы введением к двум последним чтениям, довольно подробно излагающим экономическую динамику.

Первые два чтения предполагается сделать на 6-й неделе великого поста, а последние два после пасхи.

## ОТРЫВКИ РАБОТ, НАПИСАННЫЕ ЧЕРНЫШЕВСКИМ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

### Предисловие к изданию полного перевода «Оснований политической экономии» Милля

1-й вариант

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Ученые, занимающиеся разработкою естественных наук, не опасаются уронить их достоинство или компрометировать себя простым и честным признанием того, в каком состоянии развития находятся различные отрасли этих знаний. Они говорят нам, что некоторые части астрономии и оптики уже доведены до положения очень удовлетворительного; что большая часть других отраслей естествознания уже приобрела прочные принципы, дающие верное понятие о сущности дела, но еще не разработана на столько, сколько требуется для полного удовлетворения насущным надобностям человеческой жизни; что некоторые части естествознания еще находятся в младенчестве, так что нельзя положительно сказать, имеют ли совершенную основательность даже те понятия, которые считаются ныне основными специальными принципами их. К числу этих {младенчествующ — *зачеркнуто*} отраслей естествознания, разработка которых еще только что начинается, натуралисты относят многие науки, чрезвычайно важные для человеческого счастья, — например, сельское хозяйство и медицину.

Странную противоположность скромным отзывам натуралистов о положении естествознания представляют велемечивые восхваления, какими превозносят удивительные успехи своих наук философы, публицисты, юристы, историки. Они вообще находятся в восторге от совершенства, до какого {доведены их труды — *зачеркнуто*} дошли наши, или, вернее сказать, их сведе-

ния о законах развития чувств и наклонностей в отдельном человеке, о нормах общественных отношений, о путях, которыми шла историческая жизнь.

Эта противоположность странна, потому что всем известно, что естественные науки разработаны гораздо больше, чем нравственные и общественные, и сами философы, публицисты, юристы, историки не осмеливаются спорить против этого.

Почему же они, оставшиеся далеко позади, так трубят и барабанят славословные гимны, когда натуралисты, составляющие передовой строй работников {не кричат, что — *зачеркнуто*}, очень смиренно говорят, как {мало еще успели пройти вперед — *зачеркнуто*} еще незначительна та часть пути до удовлетворительных результатов, пройденная ими, как еще много остается им идти вперед, пока будут они вправе сказать: «мы дошли до положений, довольно хороших», — почему при скромности авангарда так хвастливы обозные фуromaзы?

Конечно, вопрос нетрудный. Кто не может сказать ничего дельного, пустословит; а пустословие всегда амбиционно, самодовольно, хвастливо и велеречиво.

Если бы и теперь {состояние — *зачеркнуто*} средства нравственных и общественных наук были так скудны {жалки, даже пошлы — *зачеркнуто*}, как в XVII и в первой половине XVIII века, то можно было бы только сожалеть о них {и только сострадать заним — *зачеркнуто*} {хвастунам, превозно — *зачеркнуто*} и о хвастунах {самодовольно восхищающихся их совершен — *зачеркнуто*}, убеждающих нас восхищаться их совершенством.

Но уже довольно давно явилась возможность смотреть на эту толпу самодовольных панегиристов просто как <на> людей, сохраняющих по преданию обычай восхищаться вздором, — обычай, уже не извиняемый действительною нищетою, которая совершенно оправдывает бедных их предшественников, живших во времена мрака или слишком еще туманного передраассветного времени.

Нынешнее состояние нравственных и общественных наук не до такой степени безотраднo, чтобы добросовестным людям было тяжело вполне сознать и открыто признать истину; оно еще очень жалко, но уже не безусловно жалко, и {презренно — *зачеркнуто*} главное, оно давно уже перестало быть {безнадежны — *зачеркнуто*} отчаянным. Общественные и нравственные науки вышли из безнадежного застоя, в котором находились очень долго почти неподвижно и безжизненно.

Материалы и средства для дельной разработки их подготовлены успехами естествознания и появлением некоторой гуманности если не в общественном быте, то хотя в отношениях отдельных людей, как родственников и знакомых, и во внутренних ощущениях индивидуума. Эти успехи произвели так называемую



«литературу просвещения». Когда в ней хотя с некоторою отчетливостью высказались вечные потребности человеческой природы, начался ряд великих событий, создающих удовлетворительную для человека жизнь.

Эта переработка нравственной и общественной обстановки жизни человека только еще началась. Еще нигде не доведена она до того, чтобы положение человека хорошо соответствовало потребностям его природы. Но все-таки во всех странах, охваченных историческою жизнью {кое-что уже — *зачеркнуто*}, понятия несколько смягчились, формы быта стали несколько разумнее, чем были {стол — *зачеркнуто*} {лет — *зачеркнуто*} до конца прошлого века.

Прогресс в этом направлении, конечно, был и прежде, по крайней мере в некоторых странах Западной Европы, особенно в Голландии, Англии, Франции. Но и в них он шел так медленно, что иногда промежутки целого столетия не обнаруживают его с бесспорною ясностью. Так, например, можно колебаться в ответе на вопрос: улучшились ли общественные отношения во Франции от эпохи, которая была ознаменована изданием Нантского эдикта, до эпохи, характеризующейся отменением его. Улучшились, по всей вероятности. Но есть огромная масса фактов, которые в начале XVIII века имеют характер более дурной, чем имели за сто лет перед тем, и не будет явною нелепостью сказать: «прогресса не было», а если кто даст такой ответ: «во многом был прогресс; но в общей сложности жизнь ухудшилась, а не улучшилась, регресс перевешивал», — кто даст такой ответ, того трудно будет уличить в ошибке. То же надобно сказать, если сравнить первые годы XVII и XVIII столетий в Голландии, конец второй четверти XVII века с концом второй четверти XVIII века в Англии. Даже в этих странах прогресс обнаруживается осязательным образом только обозрением очень больших периодов. В других странах едва ли не водворялось на очень длинные ряды лет владычество регресса. По крайней мере, общее мнение находит, что так было в Германии, которую надолго и далеко назад вернула Тридцатилетняя война, так было в Италии, которую еще больше, и на время еще более продолжительное, вернули нашествия грубых грабителей из Франции и Германии, потом испанское угнетение; так было, в такой сильной степени, с самою Испаниею, которая почти на целые два века погубила себя, поддавшись стремлениям, нашедшим представителей себе в Хименесе<sup>55</sup>, Карле V и Филиппе II. Не следует безусловно полагаться на справедливость этого всеобщего мнения о долгом владычестве решительного регресса в {Италии — *зачеркнуто*} Германии.

*(На этом рукопись обрывается)*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ МИЛЛЯ

Ученые, занимающиеся разработкою точных наук, говорят нам, что некоторые отрасли этих знаний находятся в состоянии, очень удовлетворительном, например, многие отделы астрономии и оптики; что большая часть отраслей естествознания уже приобрела прочные принципы, дающие верное понятие о сущности дела, но еще не овладела подробностями фактов настолько, чтобы не представлялось больших затруднений даже в очень существенных вопросах; таково, например, состояние химии; что некоторые части естествознания находятся еще в младенчестве, и к числу этих отраслей знания, разработка которых только еще начинается, принадлежат многие из наук, очень важных для человеческого счастья, например, сельское хозяйство и медицина.

Странную противоположность скромным отзывам натуралистов о положении естествознания представляют {громкие восток — *зачеркнуто*} похвалы, какими превозносят состояние своих наук философы, публицисты, юристы, историки, — конечно, не все, но почти все. Послушать их, то надобно подумать, что нравственные и общественные науки уже очень хорошо разработаны: {принципы найдены — *зачеркнуто*} законы явлений формулированы, остается только {продолжать разработку в т — *зачеркнуто*} совершенствовать подробности; — превосходное положение, подобное тому, в каком находится астрономия солнечной системы {продолжайте неусыпно работать — *зачеркнуто*}: астрономы продолжают работать над точнейшим определением путей, масс планет; и даже открывают новые планеты, да еще в каком множестве! — но Коперник, Кеплер, Ньютон и Лаплас объяснили всю сущность дела, и все ясно и прочно, верно и полно.

Завидное положение.

Как же? «Законы исторического развития найдены»; — «права человека определены»; «формулы быта, нужного ему, даны»; — действие сил сердца и воли объяснено».

Кто {этого — *зачеркнуто*} {не говорит этого? и кто не верит этому? — *зачеркнуто*} из людей, занимающихся нравственными и общественными науками, не говорит этого?

И почти все профаны верят этому.

Но если почти каждый повторяет обычные панегирики прекрасному состоянию нравственных и общественных наук, то — каждый и уличает пустоту довольства ими, будучи готов тут же прибавить и действительно прибавляя, что естественные науки — наиболее развитая отрасль наших знаний, что они ближе других наук к совершенству.

А ученые, занимающиеся естествознанием, скромно и добро-

совестно говорят, что состояние большей части его отраслей еще очень и очень неудовлетворительно.

Что ж думать после того об основательности довольства нравственных и общественных наук?

Если бы теперь их средства к развитию были так же скудны, как полтора ста лет назад, должно было бы только сожалеть о них, сострадать к людям, убеждающим остальную массу людей восхищаться их совершенством, скорбеть о судьбе человечества и за будущее его, как за прошедшее.

Но уже довольно давно явилась возможность смотреть на толпу самодовольных адептов, убеждающих массу общества восхищаться нынешним положением нравственных и общественных наук, просто как на людей, по преданию сохраняющих привычку, уже не извиняемую {тем безнадежным скудным бессилием, нищенским отчаянием — *зачеркнуто*} жалкими обстоятельствами, которыми объясняется фантастическое восхищение вздором у их бедных предшественников, живших во времена мрака или еще слишком темного передразнительного сумрака.

Натуралисты скромны потому, что их науки, при всей неудовлетворительности своего положения, все-таки уже обладают очень почтенным запасом истины и уже приносят людям значительную пользу. Медик может легко говорить: «моя наука еще во младенчестве, еще почти ничего не знает, почти ничего не может сделать». Так. Но все-таки в очень многих случаях она уже приносит очень большую пользу. Он далеко еще не такой сильный помощник людям, какой нужен для них, каким он хотел бы быть и со временем будет. Но и теперь его деятельность уже благотворна, его наука не нуждается в хвастовстве, чтобы пользоваться уважением.

В чем есть уже хоть некоторый запас истины и блага, то не нуждается в шарлатанстве. Еще очень многие из людей, занимающихся нравственными и общественными науками, чувствуют в них и от них в себе то скромное и твердое обладание хоть небольшою долею истины, полезной людям, какое находит в своей науке и в себе медик. Еще очень немногие философы, публицисты, юристы, историки имеют твердое сознание, что надобно быть скромными; но они уже есть; они говорят.

Нынешнее состояние нравственных и общественных наук еще очень жалко; но оно уже не безусловно жалко и презренно; а главное, оно уже давно перестало быть отчаянным. Эти науки вышли из безнадежного застоя, в котором очень долго находились почти неподвижно и безжизненно.

Материалы и средства для дельной разработки их были подготовлены успехами естествознания и появлением некоторой гуманности, если не в общественном быте, то хотя во внутренней жизни отдельного лица и в его интимных отношениях к родным и знакомым. Эти успехи произвели так называемую «литературу

просвещения». Когда в ней хотя с некоторою отчетливостью выразились вечные потребности человеческой природы, начался ряд великих движений и событий, создающих удовлетворительную для человека жизнь.

Это дело только что начинается. Еще ни в одной стране не доведено оно до того, чтобы нравственная и общественная обстановка человеческой жизни хорошо соответствовала потребностям человеческой природы. Но все-таки во всех странах, охваченных историческою жизнью, общественные понятия несколько смягчились, формы быта стали несколько разумнее, чем было до конца прошлого века.

Конечно, и прежде был прогресс в нравственной и общественной жизни, но лишь о меньшей половине цивилизованного мира можно сказать с некоторою достоверностью, что прогресс в ней был довольно непрерывен; вероятно, такую судьбу имели до половины XVIII века только Англия, Голландия, Франция. Другие цивилизованные нации, по всей вероятности, испытывали очень продолжительные и довольно далекие повороты своей жизни назад. Так, например, по общему мнению историков, Тридцатилетняя война надолго понизила уровень просвещения и гуманности, обычаев и учреждений в Германии; говорят, что даже и во второй четверти XVIII века Германия еще не успела оправиться хоть настолько, чтобы иметь ту степень цивилизации, какую имела в начале XVI века; если это правда, то вот задержка развития на целые два столетия, и середина этого долгого периода представляет глубокое понижение быта. В Италии период подавления жизненного развития был, как обыкновенно говорят, еще продолжительнее. В Испании владычество регресса начинается по крайней мере с Хименеса, с эпохи

*(На этом рукопись обрывается)*

## ВВЕДЕНИЕ К ТРАКТАТУ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ МИЛЛЯ

### 1-й вариант

#### *Глава первая*

ОБЩИЙ ОЧЕРК ПОЛОЖЕНИЯ НАУК В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

#### *Отношение новой европейской цивилизации к другим кроме греко-римской*

Новая Европа имела два главных источника своих знаний: собственный опыт и размышление о нем, конечно, были всегда, как служат теперь, коренным капиталом развития; но большие пособия себе заимствовало оно из цивилизации греко-римской древности. Арабская образованность была важною помощницею европейской, но сама основывалась на греческой, и существенное значение ее для {европ — зачеркнуто} новой европейской со-

стояло в том, что арабские переводчики и комментаторы служили посредниками между греческими учеными и {новыми европейц — *зачеркнуто*} средневековыми любителями знания. В арабской цивилизации был, кроме того, самостоятельный элемент, выразившийся между прочим поэзией Курана; он не представлял средневековым европейцам ничего нового: они раньше того познакомились с восточным направлением абстрактной поэзии в до-александрийской форме. В арабскую цивилизацию вошел индийский элемент; он и в ней самой {был — *зачеркнуто*} имел меньше значения, чем собственно арабский и греческий, а европейские ученики арабов очень мало взяли из этой наименее важной части цивилизации своих учителей. Поэтому влияние арабов на развитие знаний в новой Европе заключается существенным образом в посредничестве между нею и древнею также европейскою наукою.

Прямое изучение других азиатских цивилизаций началось в новой Европе уже в {такую эпоху — *зачеркнуто*} такое время, когда науки дошли до значительной степени развития, и новая Европа нашла в этих цивилизациях только материалы для соображений, только новые запасы фактов для обдумывания, а не {готовое, более готовое знание — *зачеркнуто*} готовую более высокую, чем европейская, обработку их. Математики говорят, что если бы в XVII столетии сделались известны Европе алгебраические трактаты санскритской литературы, то развитие чистого анализа было бы значительно ускорено; они говорят, что только Бернулли и Эйлер довели его до решения тех задач, которые уже были разрешены индийскими {математиками — *зачеркнуто*} алгебраистами древности и начала средних веков. Но их труды сделались известны европейским алгебраистам уже после времен {не только — *зачеркнуто*} Бернулли и Эйлера<sup>56</sup> {Монжа и Лапласа — *зачеркнуто*,} {Монжа а Ев — *зачеркнуто*}, когда своею работою новая Европа {ушла — *зачеркнуто*} приобрела все, что могла бы скорее и легче получить в наследство от индийского анализа. Сколько {может — *зачеркнуто*} видно теперь, до начала знакомства с санскритскою литературою в конце XVIII века, европейская цивилизация получила от индийской, мимо {древнего мир — *зачеркнуто*} греко-римской, только одно прямое, готовое возвышение своих богатств или средств, десятичную нумерацию. Индийская система цифр гораздо удобнее греческой и римской. Но, доставив пользу практическим расчетам и облегчив элементарные математические работы, она не смогла иметь влияния собственно на развитие {знан — *зачеркнуто*} наук\*.

Египетская и древне-персидская цивилизации оставались совершенно неизвестны новой Европе непосредственным образом до

---

\* При этом надобно заметить: 1, элементы десятичной нумерации даются этимологию числительных имен, и зародыши ее употребления есть в народных обычаях европейских простолюдинов, в так называемых «бирках», — некоторые системы бирочного письма имеют такой вид — повторение

недавних десятилетий {они оставили — *зачеркнуто*} и служили источником новой образованности лишь настолько, насколько помогли развитию греческой цивилизации. Итак, остается заметить только влияние китайской образованности.

Новая Европа познакомилась с нею в такие времена, когда еще могла находить в ней многие стороны, казавшиеся имеющими более высокое развитие, чем какого достигли в самой Европе. В XVII и даже в XVIII столетиях есть довольно значительные проявления мысли, что европейцы должны стать учениками китайцев. Для примера довольно сослаться на Лейбница и Вольтера: в их произведениях есть страницы, внушенные таким же чувством относительно Китая, с каким Геродот говорил о Египте: почтение, близкое к благоговению. Сколько можно судить человеку об историческом значении современных писателей, теперь нет <ни> одного сколько-нибудь значительного {человека, автора, который — *зачеркнуто*} приверженца китайской цивилизации. Но и до сих пор европейские ученые, долго живущие в Китае, получают глубокое уважение к ней, и многие из них расположены ставить ее выше нашей, если не безусловно во всем, то почти во всем существенном. Для примера можно назвать Гюцлафа<sup>57</sup>. Этот факт заслуживает внимание {серьезные ученые нашего времени не могут разве — *зачеркнуто*}, {называть — *зачеркнуто*}, {сохранить — *зачеркнуто*}.

При нынешнем знакомстве с Китаем надобно назвать заблуждением обычное выражение «китайская неподвижность»: в Ки-

одной метки или нарезки до суммы 9, потом для обозначения суммы 10 ставится другой знак; 2, употребление десятичной нумерации до сих пор очень неполно в жизни; метрическая система еще мало распространена; кроме нее лишь у немногих наций и лишь в некоторых отраслях счета существует десятичная система, и она в этих случаях развилась сама собою из простой местной жизни, а не дана общему цивилизации, например, наше деление рубля на гривны и копейки предшествовало введению десятичной нумерации через книги; 3, сама по себе десятичная система одна из самых неудобных; только основания 7 и 11 были бы еще менее удобны. Основание 9 едва ли менее удобно; основание 8, без сомнения, гораздо удобнее. Но самое рациональное основание, вероятно, было бы 6; его преимущества над основанием 10 очевидны: делимость на 3 вместо делимости на 5 и несравненно меньшая сложность. Одно второе преимущество уж очень много значит — сравни мысли Лейбница об основании нумерации 2. Но при основании 7 слишком растет и количество разрядов счета. Основание 6 не представляет этого затруднения. В обыкновенных делах жизни миллион — очень {отдаленная — *зачеркнуто*} широкая граница, которая редко достигается. Цифры выше миллиона имеют уже почти только ученый характер. Миллион, выражаемый в десятичной нумерации семью знаками, требует девять знаков для своего выражения в шестеричной нумерации; в ней девятью знаками выражаются цифры более чем до полутора миллиона (до числа один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать; этому числу соответствует обозначение 555, 555, 555, если употребляются цифры 1, 2, 3, 4, 5, 10 (=6), 11 (=7), 12 (=8), 13 (=9), 14 (=10), 15 (=11), 20 (=12) и т. д.). Выражение 1 000 000 по этой системе соответствует числу сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть.

тае жизнь точно так же никогда не останавливалась, как и в Европе, как и во всякой стране после выхода из дикого состояния. Не подлежит сомнению, что китайская нация очень долго шла путем прогресса {что наука и — *зачеркнуто*}, совершенствовала свои понятия, обычаи, учреждения; что с давнего времени она подверглась обратному движению, и уже несколько веков материальная и умственная жизнь ее {становится — *зачеркнуто*} понижается. {Надобно — *зачеркнуто*}. Вообще {принято, не замечая этого — *зачеркнуто*} не знают этого второго факта и воображают, будто бы в Китае все держится на одном и том же уровне чуть ли не тысячу лет, или больше. Нет, довольно отдаленная старина {выше — *зачеркнуто*} Китая имеет к нынешнему его состоянию такое же отношение, как времена александрийской цивилизации к позднейшей византийской жизни. Но {отчего — *зачеркнуто*} в чем надобно искать причину этого регресса? Всякому известен привычный ответ: «китайская цивилизация не могла развиваться выше известного предела по своей односторонности {или исключ — *зачеркнуто*}; ее существенные {принци — *зачеркнуто*} элементы {неудовл — *зачеркнуто*} <не>способны к {истинно чело — *зачеркнуто*} широкому развитию». {М — *зачеркнуто*}, {это один — *зачеркнуто*}. {Этот ответ один из бесчисленных случаев особенного вид — *зачеркнуто*}, {приложению — *зачеркнуто*}, {примеров — *зачеркнуто*}, {одной из форм того, что называется — *зачеркнуто*}, {ошибочной аргументации, известной под именем *petitio principii*, фальшивой манеры отвечать замаскированием вопроса, устранение — *зачеркнуто*}, {ленивым отказом рассмотреть — *зачеркнуто*}. Но это не ответ, это лишь ленивое маскирование неохоты или неумения объяснить дело. «Почему {вещ — *зачеркнуто*} явление таково?» — «потому, что оно имеет такую сущность». — Почему хина излечивает лихорадку? — потому, что сущность хины излечивать лихорадку; или: потому что сущность лихорадки излечиваться хиною. {Почему летом жарко, а зимою хо — *зачеркнуто*}. Это не ответы. {Учебная — *зачеркнуто*}. Логика требует, чтобы в ответе было не пустое, ничего не объясняющее слово, а объяснение специальных условий и отношений, производящих факт, или было честное сознание: «не умею отвечать, потому что не знаю». {Попы очень часто — *зачеркнуто*}. Впрочем, к прекрасному решению «причина неподвижности заключается в неспособности к движению», почти постоянно прибавляется и указание специального условия, «китайская замкнутость» — предполагается, что китайцы стали неспособны к продолжению своего развития потому, что отчуждены от других народов, замкнулись в самих себя; не видят разнообразия, лишены возможности сравнивать с собою другие народы, с своими обычаями другие формы жизни, и потому {и потому — *зачеркнуто*}, {что эта монотонность и обр — *зачеркнуто*} истощились у них материалы для соображений {иссякла — *зачеркнуто*}, пре-

секлись побуждения изменять и улучшать привычное {но тут не — *зачеркнуто*}. {Это одно из объясн — *зачеркнуто*}, {один из примеров — *зачеркнуто*}. {Но во-первых — *зачеркнуто*}. {То — *зачеркнуто*}. Продолжать говорить такие вещи ныне значит не хотеть или не уметь принять в соображение факты, известные каждому. Китайцы вовсе и не думали отказываться от сношений с народами других цивилизаций: в Китае живут арабы, евреи. Коренной Китай постоянно расширял границы своей колонизации. Китайцы столько же замкнулись от других цивилизаций, как любой из европейских народов. Весь ошибочный говор об этом основан на том, что в течение некоторого времени китайцы не хотели иметь у себя европейских посольств и пускать европейцев жить в Китае. Но, во-первых, эта система принята была очень недавно, существовала всего лет полтора, — как же распространять ее на историю нескольких тысячелетий? Во-вторых, это была мера, принятая вследствие случайных обстоятельств, прискорбных самим китайцам; китайцы изгнали от себя европейцев точно по таким же соображениям, по каким через несколько времени после того почти все католические правительства изгнали из своих земель иезуитов. Когда Португалия, Испания, Франция в третьей четверти прошлого века {удалили из — *зачеркнуто*} закрыли свои границы для иезуитов, это вовсе не означало, что их правители враждебны католичеству или хотя иезуитскому воззрению на католические догматы {это про — *зачеркнуто*}, {им — *зачеркнуто*}, {они были совершенно равнодушны к э — *зачеркнуто*}, им только показалось, что иезуиты вредны для внутреннего порядка, что удалить их значит уменьшить домашние смуты. И в Китае, как тут, {запрещение не — *зачеркнуто*} изгнание не имело своим основанием ни национальную исключительность, ни религиозную нетерпимость, а было следствием дипломатических и полицейских надобностей из особенных временных обстоятельств, а не из общих принципов национальной жизни. Это не более, как особенный случай того, что называется политикою невмешательства. Так Северо-американские Штаты считали выгодным для себя устраниваться от всякого вмешательства в европейские распри. {Еще ближе будет сравнить — *зачеркнуто*}. Такую же цель имели китайцы. Еще ближе будет сравнить закрытие Китая для европейцев с обыкновенными распоряжениями и заботами всех правительств об ограждении существующего порядка от враждебного ему действия политических эмиссаров других правительств. Тут нет ничего особенного. Но {допустим для полноты аргументации — *зачеркнуто*} взглянем на дело даже и с той обычной точки зрения, несомнительность которой объяснена предыдущим разбором. Предположим на минуту, что китайцы действительно замыкались от всякого прикосновения с другими цивилизациями, чего вовсе они не делали. И в таком случае, полем и материалом их на-



блюдений и сравнений, источником сил развития для их цивилизации остается все пространство, на котором господствует их цивилизация. Границы этого пространства — Океан, Зондское море, Гималаи, полоса земли от Гималаев к Аральскому морю, Сибирские тундры или до недавнего времени Ледовитый океан. Это пространство в несколько раз больше того, на котором развивалась до недавнего времени европейская цивилизация {греко-римский мир был — {зачеркнуто}.

Если мы даже ограничимся собственно только землею китайского племени, отбрасывая из соображений огромные пространства, исторически связанные с нею, мы увидим, что все-таки эта страна обширнее всего пространства, на котором развивалась европейская цивилизация до очень недавнего времени, что она представляет больше разнообразия и по климату и другим естественным условиям, и что если бы дело определялось богатством материала для разнообразных наблюдений и опытов, то запас этот скорее истощился бы у нашей, чем у китайской цивилизации \*. Но обыкновенно выставляют

По «Атласу» Берггауза:

бассейн Гоанго . . . . .	33 600 кв. миль
Янг-дзе-кианга . . . . .	34 200 кв. миль
Чу-кианга . . . . .	6 200 „ „

---

Итого . . . . . 73 800 кв. миль

(Рукопись обрывается)

## 2-й вариант

### Глава первая

ОЧЕРК ПОЛОЖЕНИЯ НАУК В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

#### 1

### *Отношение новой европейской цивилизации к цивилизации китайской, индийской и древней персидской*

Новая Европа имела два главных источника своих идей. Собственный опыт и размышление о нем, конечно, были всегда, как служат теперь, коренным капиталом ее развития; но большие

---

\* Вот несколько замечок для сравнения.

Пространство, занимаемое собственно Китайскою имперіею без населенных земель, разные географы полагают составляющим от 65 до 80 тысяч квадр. миль.

Римская имперія в эпоху, когда обнимала собою все земли древней греко-римской цивилизации, имела приблизительно такое же пространство; но половину его составили области, которые были заняты только гарнизонами цивилизованных завоевателей, в том роде, как теперь в Алжирии есть несколько городов, в которых много европейцев. Собственно говоря, греко-римской цивилизации принадлежали, в эпоху самого широкого ее распро-

пособия ему были заимствованы ею из цивилизации греко-римской древности. Влияние других цивилизаций на новую Европу или было незначительно, или производилось лишь косвенным образом, через греко-римскую цивилизацию, или состояло в посредничестве между древними греко-римскими знаниями и {новой — зачеркнуто} средневековою жизнью Европы. Эта посредническая роль принадлежала арабской цивилизации; косвенным образом, через греко-римскую цивилизацию, новая Европа подвергалась влиянию египетской, сирийской и египетско-сирийско-греческой цивилизации; об этих двух видах отношений и о характере их влияния мы будем говорить при изложении тех периодов древней и средневековой жизни Европы, к которым они принадлежат. Здесь для исторической полноты и для отметки некоторых обыкновенно упускаемых из соображения фактов мы обратим внимание на наши отношения к тем цивилизациям, которые ни прямым, ни косвенным образом не имели значительного участия в развитии ново-европейских идей, но ошибочные мнения о которых служат опорами для довольно многих неправильных суждений об истории человеческого развития. Это цивилизация китайская, индийская и древне-персидская.

Новая Европа начала узнавать Китай в такие времена, когда еще могла бы заимствовать у китайцев не какие-нибудь отдельные, внешние изобретения, а уроки и пособия для общего характера своих понятий и обычаев, как заимствовала из греко-римской древности. В XVII веке, даже до третьей четверти XVIII века, есть довольно значительные проявления мысли, что европейцы должны стать учениками китайцев. Для примера довольно сослаться на Лейбница и Вольтера: у них есть страницы, проникнутые таким же чувством к цивилизации Китая,

странения в Европе, земли на юг от Балканов, Дуная, на запад и юг от Рейна; в Азии: Анатолия, Сирия, в Африке Египет и узкая полоса северного побережья; все вместе это составляет тысяч 50 или 55 квадратных миль. Да и в этом пространстве большая половина имела даже и в самом конце древней истории приблизительно такое же положение относительно цивилизации, как теперь бывшие испанские владения в Америке; язык цивилизованных победителей уже стал господствующим; они составляли значительную часть населения; но масса населения находилась еще в полуварварском состоянии. Цивилизованными частями Римской империи собственно были только: Италия, южная часть Балканского полуострова, юго-западная четверть Франции, острова Средиземного моря, Египет и в других местах Средиземного побережья — узкая полоса. Все это вместе составляло тысяч 20 или много 25 квадратных миль.

В конце XV века пределами европейской цивилизации на востоке была приблизительно линия Вислы. Прибавив к этому южную часть Скандинавии, можно насчитать до 70 или 75 тысяч квадр. миль. Но, собственно говоря, цивилизованными странами были только земли, занятые романскими и немецкою национальностями, Англия и Богемия с Моравиею. Пространство на восток от Эльбы и на юго-восток от Богемско-Моравской земли только начинало воспринимать цивилизацию, имело лишь небольшие оазисы ее. Настоящим образом цивилизации принадлежало от 35 до 40 квадратных миль, не больше.

с каким Геродот говорил о Египте: почтением, близким к поклонению. Это впечатление — исторический факт; ошибочно ли было оно или нет, но оно существовало. Из его существования само собою следует, что если бы тогда житейские или хотя умственные сношения Европы с Китаем были сильны, Европа подверглась бы влиянию китайской цивилизации, — может быть, и вероятно менее сильному, чем влияние арабской в предшествующие столетия, но точно так же неотразимому. Этого не было, потому что и до сих пор связи Европы с Китаем слишком незначительны. Чего ждать в будущем? Они растут. Нет ни малейшего сомнения в том, что китайская нация скоро начнет переделывать свою жизнь под влиянием европейских учреждений, обычаев и понятий {вопрос имеет две стороны — *зачеркнуто*}. {Этот может быть представляет — *зачеркнуто*}, {разлагается — *зачеркнуто*}. Но {до какой степени Европа сохранит ту полную — *зачеркнуто*} можно ли быть уверенным, что Европа не подвергнется взамен сильному влиянию Китая?

Когда нация, имеющая теперь, по всей вероятности, большую многочисленность, чем все нынешние цивилизованные нации, взятые вместе, примет участие в обработке человеческой жизни с пособиями нашей цивилизации, то по натуральному закону следует ожидать, что работа пойдет успешнее и китайцы будут полезными сотрудниками европейцев, как в Европе работа одной нации была всегда полезна прогрессу других наций. Но то будет новая работа над новою цивилизациею, служащею развитием нынешней европейской. Вероятности этой будущей разработки служат предметом разбора следующих отделов нашего исследования. А теперь нам представляется вопрос о том, существует ли вероятность, чтобы наша нынешняя цивилизация подверглась сильному изменению от нынешней китайской цивилизации, при быстром возрастании наших живых связей с китайцами, — в том смысле, как усиление сношений с народами арабской цивилизации имело своим следствием довольно ощутительную перемену в средневековой европейской жизни?

Почти все не задумываясь скажут: «нет, этого нельзя ожидать»; и, по всей вероятности, такой ответ справедлив. Но он почти всеми будет дан или по впечатлению, в котором они сами затруднились бы отдать себе ясный отчет, или по представлениям, едва ли основательным. Случайное совпадение какого-нибудь одного вывода из ошибочных понятий с истинною не должно удовлетворять нас: истина должна основываться на истине, а не на ошибках; безотчетное впечатление также не должно удовлетворять нас: мы должны разъяснять себе наши впечатления.

Мы заметили, что в XVIII веке были люди великого ума и исторического влияния, чувствовавшие наклонность ставить китайскую цивилизацию {источником — *зачеркнуто*}, {предметом — *зачеркнуто*} руководством для нас. После Вольтера мы едва ли

найдем примеры этому. Очень многие из людей, долго живших в Китае, становятся поклонниками его. Но если между ними есть писатели очень трудолюбивые и ученые по своей специальности, например Гюцлаф, то нет между ними ни одного человека, пользующегося ~~большим~~ <sup>большим</sup> значением в {мнении публики — *зачеркнуто*} умственной жизни вообще, и даже нет ни одного, которого можно было бы назвать человеком значительного ума или по крайней мере удовлетворительного образования. Это показывает, что нынешняя китайская цивилизация не включает в себе ничего такого, чему не удовлетворяла бы наша собственная. Чем же увлекала она людей, подобных Лейбницу и Вольтеру?

Лейбниц был увлечен преимущественно сильною логичностью китайского письменного языка; Вольтер — преимущественно рассудительностью, с которой китайцы стараются ценить предметы и отношения по их удобству и пользе, а не по схоластическим или идеалистическим нормам.

В наше время европейская цивилизация уже выработала значительные явления, соответствующие обоим этим стремлениям. Единственные науки развили номенклатуру, основанную на анализе основных элементов и классификации их комбинаций. Всякому профану очевидна прекрасная рациональность языка, принятого химиею. Геогнозия {ботаника, зоология — *зачеркнуто*}, физиология, классификация растений и жи~~вотных~~ <sup>вотных</sup>

*(Рукопись обрывается)*

### **< ОТРЫВОК ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ РАБОТЫ >**

Принимая линию 20° средней годичной температуры по 100-градусному термометру (16° по нашему) за границу тропического климата, мы увидим, что в его полосе лежат:

Вся Африка, кроме очень небольшого куса побережья на северо-западе (северная часть Марокко) и также небольшого отрезка южной оконечности. Оба эти небольшие пространства очень мало удаляются и крайними своими пределами от линии 20° средней температуры; потому, в общем обзоре, каков наш, справедливо будет сказать, что эти незначительные исключения, так мало отступающие от нормального предела, не заслуживают внимания. Здесь мы имеем полное право выразиться просто: Африка вся лежит в тропическом климате.

В Азии линия 20° средней температуры идет севернее Дамаска, к устью Кура, по соседству Бухары, Самарканда, отсюда в юго-восточном направлении спускается к соседству тропика в восточном Китае; таким образом, приблизительно говоря, тропический климат имеют: Сирия, Аравия, Персия, южная часть персидско-туранских земель на востоке от Каспийского моря, южная половина Китая и земли на юг от этих мест.

Острова между Азией и Австралией.

Западная половина Австралии, кроме широкой полосы южного берега; в восточной половине Австралии кусок, лежащий вне тропического климата, гораздо обширнее и, вероятно, имеет несколько десятков тысяч квадратных миль.

В Америке линия  $20^{\circ}$  средней температуры идет на севере так, что к тропическому поясу принадлежит почти вся Мехика, в Соединенных Штатах узкая полоса побережья Мексиканского залива и Флорида; в Южной Америке эта линия идет через южную часть Боливии к южному краю Бразилии; таким образом, Боливия, Бразилия и все страны между ними и Мехикой, Вест-Индия лежат в тропическом климате.

{Все три нации, которые составляют в Европе передовой главный отдел цивил<из>ованного человечества. — Англичане служат теперь главными деятельницами цивилизации в Европе, — французского — *зачеркнуто*}.

В Европе привыкли находить

*(Рукопись обрывается)*

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

(Милля, книга вторая)

### А. Соперничество, как норма распределения. — Б. Классы между которыми делится продукт

(Гл. III—X)

Разумеется, мы должны обозреть содержание трактата Милля по порядку книг и глав. Первая книга уже известна в полном составе читателю. Стало быть, нам приходится начинать со второй; а во второй первые две главы трактуют о системах экономического устройства, основанных на принципе, различном от господствующего принципа новой экономической истории, и потом об этом принципе, о частной собственности, о степени ее экономической полезности в нынешнем ее виде и о том, какие изменения нынешнего ее вида справедливы и полезны по мнению Милля, — следовательно (заключаете вы), статьи наши должны начаться обзором этих глав, о коммунизме и о частной собственности. Как бы не так! — «держи карман!» — Извините за простонародное выражение. — Неужели, читатель, вы до сих пор так наивны, что думаете, будто мы (я говорю собственно про себя, про других не знаю) — будто мы поступаем, как следует поступать? — Например, будто мы пишем о том, о чем следует писать? — Никогда! Да, с гордостью могу сказать я о себе, что никогда не отступал до сих пор от правила: пиши не о том, о чем следует, да и о том, о чем почти не стоит писать, пиши не так, как следует. Неужели захочу я теперь испортить репутацию, приобретенную годами неуклонного следования этому принципу? Неужели захочу я подвергнуться угрызням совести? Никогда. Я ненарушимо держусь принципа и с удовольствием жертвую ему двумя первыми главами II книги Милля, обзором которых мне следовало бы начать.

Да и на что нам они? Что касается до меня, мне в коммунистическом обществе жить не придется, следовательно, плевать

я хотел на коммунизм (с вашего позволения). А вы, читатель, смею спросить, кто вы такой? До вашей нравственности, до вашего ума мне нет никакого дела; я только спрашиваю: каков размер вашего имущества? Если вы владеете порядочной собственностью или хотя ждете порядочного наследства, тогда вы, без всякого Милля, знаете, какое это хорошее учреждение — собственность (конечно, если она не должна идти не ныне-завтра под аукционный молоток), и знаете вы, что все другие системы общественного устройства, кроме системы частной собственности, фальшивы и гибельны. Если же у вас недвижимого имущества нет, движимого маловато, — тогда — тогда простите меня за прямоту: я с вами толковать не намерен, потому что я не хочу знаться с людьми не порядочными. Стало быть, во всяком случае, нечего мне ни для себя, ни для читателя останавливаться на первых двух главах II книги Милля.

Разве только для приличия, чтобы уж не совсем пренебречь этими двумя первыми главами, не стоящими никакого внимания, выпишем первую страничку пропускаемого нами отдела II книги, да и то больше не для самой этой странички, а так лишь для общего предисловия к следующим выпискам.

Рутинные политико-экономы выставляют все части экономического быта одинаково не зависящими в своих основных чертах от соображений человека о лучшем устройстве человеческого быта. На самом же деле принципы только одной части экономического быта, именно производства, налагаются на человека с необходимостью физических законов, — остальные элементы экономического быта устраиваются уже самим человеком и вполне подлежат власти исторических обстоятельств: — разъяснением этой важной разницы теории производства от теории распределения и обмена и начинает Милль свою вторую книгу:

«Принципы, изложенные в первой части нашего трактата, сильно отличаются в некоторых отношениях от принципов, к рассмотрению которых мы теперь приступаем. Законы и условия производства имеют характер истин, о каких говорят естественные науки. В них нет ничего, зависящего от воли, ничего такого, что было бы можно изменить. Все производимое человеком должно быть производимо теми способами и под теми условиями, какие налагаются качествами внешней природы и внутренними свойствами физического и умственного устройства самого человека. Хочет или не хочет человек, но размер его производства все равно будет определяться размером его предварительного сбережения и, при данном размере сбережения, будет пропорционален энергии человека, его искусству, достоинству его орудий и благоразумному пользованию выгодами соединенного труда. Хочет или не хочет человек, но, удвоив количество труда, он не получит с данного пространства земли удвоенного количества пищи, если не произойдет улучшение в земледельческом

процессе. Хочет или не хочет человек, но непроизводительный расход отдельных лиц будет вести к пропорциональному обеднению общества, и только производительным расходом будет обогащаться общество. Каковы бы ни были мнения или желания по этим вещам, они не изменяют характера самих вещей. Мы не можем сказать вперед, каких пределов не перейдут изменения в способах производства, каких пределов не превзойдет возрастание производительности труда при будущем расширении наших знаний о законах природы и при возникновении из этих новых знаний новых промышленных процессов, о которых мы теперь не имеем и понятия. Но каковы бы ни были наши успехи в стараниях расширить пределы, полагаемые нам свойствами вещей, мы знаем, что непременно существуют эти пределы; мы не можем изменить коренных качеств ни материи, ни мысли, а можем только с большим или меньшим успехом употреблять эти качества на произведение феноменов, нужных для нас.

«Не таковы принципы распределения богатства. Это распределение — чисто дело человеческого учреждения. Когда явились вещи, то люди, или как частные люди, или как общество, могут поступать с ними, как захотят. Они могут отдать их в распоряжение, кому им угодно и на каких им угодно условиях. Далее: когда люди живут в обществе, то всякое распоряжение вещами может происходить только по согласию общества, или, точнее говоря, по согласию тех, которые располагают деятельною силою общества; это согласие необходимо при всяком общественном устройстве, независимость от него бывает только в одиночестве совершенной пустыни. Даже вещи, произведенные одним своим личным трудом, без всякой чужой помощи, человек не может сохранять в своем распоряжении иначе, как по дозволению от общества. Мало того, что общество может взять их у него, — их могли бы взять и взяли бы у него отдельные люди, если б общество осталось к этому равнодушно, если бы оно не употребляло своего вмешательства в целом своем составе, или не назначало и не содержало особенных людей, чтобы не давать никому нарушать его владения этими вещами. Таким образом распределение богатства зависит от законов и обычаев общества. Правила, которыми оно определяется, бывают те, какие созданы мнениями и желаниями правящей части общества; в разные времена и в разных обществах эти правила очень различны и могли бы стать еще различнее от прежних, если бы того захотели люди».

Действительно, у разных народов и в разные эпохи у одного народа мы видим формы экономического быта чрезвычайно разнообразные. Не говорим уже о том, что, в противоположность нынешнему господству принципа частной собственности у цивилизованных наций, были у тех же племен в глубокую ста-



рину формы, представляющие видимое сходство с коммунизмом, — формы, до сих пор господствующие у разных варварских и полуварварских племен; не говорим о том, что у самых передовых наций до сих пор сохраняется кое-что из этих учреждений дикой старины, например, за береговою чертою море признается всеми нациями за общее достояние человеческого рода; судоходные реки у самых передовых наций еще остались общим достоянием нации; в самой Англии, не говоря уже о Франции и Германии, еще остаются городские выгоны как общее достояние целого города и т. д. Это последнее обстоятельство — чисто калмыцкая или чирокезская черта, а в понятии о море англичане, французы и прочие чуть ли не перешеголяли самых троглодитов; не говорим и о том, что в сфере громадных предприятий стала все сильнее и сильнее выступать тенденция, противоположная безграничному праву частной собственности (укажем развитие этой тенденции по двум направлениям, известным каждому: акционерные общества захватывают все больше и больше места в промышленной деятельности; когда частная собственность мешает осуществлению громадных предприятий, замысливаемых акционерными обществами, закон устраняет ее с их пути посредством экспроприации, которая все больше и больше входит в законное правило и при столкновениях государственной деятельности с частною собственностью, — столкновениях, прежде разрешавшихся экстренными противозаконными мерами администрации, а теперь развязываемых против частной собственности в пользу государственных надобностей правильными приговорами законных судилищ); обо всем этом мы не станем говорить, потому что тут везде — нечто похожее на коммунизм, на который мы уж наплевали, в чем и объяснились выше. Нет, и в делах, совершающихся исключительно по принципу частной собственности, формы экономического устройства очень различны. Возьмем, например, земледельческий продукт. В ином месте, например в Бразилии, весь он принадлежит одному классу, землевладельцам, возделывающим свои поля посредством рабов; земля и капитал — собственность плантатора; труд исполняется людьми, составляющими также его собственность, то есть в экономическом отношении не людьми, а машинами или домашним скотом. В других местах землевладелец также сам бывает антрепренером, ведущим дело на свой капитал, но уже посредством свободных работников, так что тут два класса: землевладельцы-хозяева и наемные работники. В иных местах мы видим тоже два класса, но уже не так распределяются между ними три элемента производства, значит, и продукт: землю берет у владельца в аренду человек, сам ее возделывающий собственным трудом и капиталом; да и тут опять есть разные формы распределения между этими двумя лицами, землевладельцем и арендатором-работником: в одних местах арендная

плата определяется торговыми условиями, в других остается неизменно, в третьих обычное право арендатора на пользование землею, с незапамятной старины находившееся в его роде, укоренилось до того, что землевладелец уже утратил всякую власть вмешиваться в хозяйство арендатора, так что тут как будто два собственника: один по имени, а другой на деле — и на деле выходит, что земля отчасти принадлежит арендатору-работнику и лишь отчасти лицу, называемому владельцем ее. Бывает и такое устройство, в котором каждый из трех элементов производства имеет своим представителем особый класс. Земля принадлежит землевладельцу, капитал фермеру, а сам фермер уже не работник, и труд на ферме исполняется людьми другого сословия, работниками. Наконец есть еще особенное устройство, когда сам землевладелец — с тем вместе и работник, иначе сказать, когда работник вместе и собственник земли, и капитал принадлежит также ему самому.

Какая же тут неизменность законов распределения, когда распределение видоизменяется по множеству разных общественных отношений, созданных почти всегда историческими обстоятельствами, совершенно не зависимыми от экономических принципов и по большей части — прямо противоречащими им? Разве политико-экономическими принципами был устроен общественный быт при завоевании Римской империи варварами, или во времена феодализма, или даже в позднейшие, хотя бы в наши времена? Разве он еще не подчинен господству влияний, гораздо сильнейших, чем здравый экономический расчет? Разве из здравого экономического расчета велись войны при Наполеоне I, — войны, развязкой которых решен был экономический быт Европы? Разве по экономическому расчету завладела и хочет продолжать владеть Алжириею Франция? Разве по здравому экономическому расчету устроились и сохраняются поземельные отношения в Англии? — Но ведь мы вовсе не то говорим (отвечают рутинные политико-экономы), что все установившиеся формы экономических отношений сообразны с принципом науки или что все эти формы должны остаться неизменны; напротив, мы порицаем многие из них, порицаем даже все, за исключением только одной, и доказываем, что всем им лучше было бы заменить этою одною, которая одна удовлетворительна. Мы говорим только, что неизменен общий принцип, по которому распределяется продукт при всех этих формах, и что он вполне удовлетворителен; принцип этот — соперничество. Оно имеет в себе необходимость закона природы; устранить его невозможно; а если б и можно было устранить его, не следовало бы устранять, потому что ничего лучшего нельзя и придумать человеку. — Посмотрим, так ли это.